



Екатерина Лесина
Фотограф смерти
Серия «Артефакт-детектив»

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2671745
Лесина Е. Фотограф смерти: роман : Эксмо; Москва; 2011
ISBN 978-5-699-53417-3*

Аннотация

У американских индейцев сильна была вера в то, что можно забирать душу у одного человека и переносить ее другому. Внутреннюю сущность легко запечатлеть на пленку, поэтому вожди и жрецы не любили фотографироваться. Эти знания индейцы передали бледнолицым, и инженером Джорджем Фицджеральдом была сконструирована особая фотокамера – идеальный аппарат для транспортировки жизненной энергии. Камера прекрасно справлялась с поставленной задачей, но не принесла счастья ни своему владельцу, ни его семье. Теперь злополучный аппарат появился в наше время. Сумасшедший фотограф с помощью старинной фотокамеры сводит с ума и убивает своих жертв... Бывшая сыщица Дарья Белова тоже попадает под разряд «фотогеничных», ее снимок с траурной лентой и белые похоронные туфли в подарок не оставляют сомнений в намерениях преступника. Чтобы с ним бороться, Дарье сначала нужно спасти своего друга, бывшего патологоанатома Адама Тынина, но для этого необходимо вызволить его из... психиатрической лечебницы.

Содержание

Пролог	4
Часть 1	6
Часть 2	43
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Екатерина Лесина

Фотограф смерти

Пролог

А потом начался дождь. Серые струи пулеметной очередью прорезали акварель. Анютка и огорчиться не успела, только подумала, что эти дождевые кляксы и вправду похожие на раны, рисунок не портят. Она перевернула планшет, сунула кисть в рот, слизывая сладковатую краску, и вздохнула. Надо возвращаться. Ярко-синее небо выворачивалось наизнанку, и растянутыми швами мелькали желтые молнии. Точь-в-точь как на старых Анюткиных джинсах. Чуть потяни, и швы лопнут, а сквозь прорехи вместе с дождем хлынет чернильная чернота ночи.

Анютке нравилось думать именно так, чтобы красиво. Выплюнув пожеванную кисть, она посмотрела на краски, в которые налилось изрядно воды, на испачканные руки и белую майку. Ткань, набираясь влагой, теряла белизну и словно бы растворялась, выставляя напоказ смуглую кожу и черные пятнышки синяков.

Мама очень сердилась.

Нельзя сердить маму.

Громыхнуло.

И звук этот окончательно вывел Анютку из задумчивости. Она села на гудрон, сохранивший остатки тепла, и стянула кроссовку. Бросила в лужу. Отправила следом и вторую. Два розовых носочка – два мазка на черном холсте крыши.

– Так будет хорошо, – сказала Анютка, встав на четвереньки. Капли дождя барабанили по спине глухо, сердито.

– Определенно, так будет хорошо.

Анютка на четвереньках поползла к парапету, за которым не было ничего, кроме джинсового неба с желтыми швами молний.

Взобравшись на парапет, Анютка встала. Посмотрела на руки – грязь смешалась с акварелью. Много-много красок. Слишком много, чтобы выдержать.

– Я знаю, – сказала Анютка. – Так будет хорошо. Всем хорошо.

Зажмурившись, она шагнула в пустоту.

Наблюдатель уложил бинокль в сумку, закрыл замок – «молния» взвизгнула жестко, зло – и покинул убежище. Пока он преодолевал преграды лестниц и пролетов, во дворе уже успела собраться толпа, в которой выделялась долговязая дамочка в бигудях и ярко-алом шелковом халате. Цветовое пятно застило другое, растекавшееся по асфальту.

– Бедная девочка, бедная девочка... – Шепот толпы манил. Крестилась сухонькая старушка, совершенно типичная и потому не интересная со своими морщинами и блеклыми глазами. Вполголоса матерился мужичок в растянутой майке.

Антонина была здесь, стояла, вытирая слезы и дождь распаренными руками. Ему всегда хотелось снять их: огромные, разбухшие от воды, торчащие из манжет белоснежной блузы, как будто неумелый кукольник перепутал игрушки. Такие руки бы прачке...

– Что случилось? – Наблюдатель переместился так, чтобы видеть и тело, и женщину в алом, и неправильные руки Антонины.

Она повернулась на голос, уставилась беспомощно, невидяще, как ослепленная солнцем камера.

Не узнала.

– «Скорую» надо вызвать, – мягко произнес Наблюдатель, позволив себе коснуться руки. Шершавая. Горячая. И вода не задерживается на коже, брезгливо слетая вниз, к черной юбке.

– Анютка умерла, – ответила женщина, не разжимая губ. – Анютка умерла...

– Тоня, пойдем. – Та, которая в алом, обняла женщину за плечи. – Пойдем, дорогая. Выпьешь. Тебе надо выпить. Всем надо выпить.

От нее разило алкоголем.

Увести себя Тоня не позволила, вырвалась из объятий и, упав на колени, зарыдала. На голос ее отозвались воем сирены. Действо продолжалось.

Дальше смотреть было неинтересно, но Наблюдатель все равно смотрел. На прояснившееся небо. На солнце. На людей, которых лишь прибывало. На влажные бока машин, одинаково измаранных по днищу. На деловитые лица работников «Скорой» и полиции – фигурки в форме.

И тело тоже стало фигуркой из черного полиэтилена. Жаль.

Картина двора потеряла смысл.

Наблюдатель ушел.

Часть 1

Хаос

У Адама болела голова. Боль сидела изнутри – две металлические пластины вместо височных костей и магнит между ними, основа цикличного и непрерывного процесса. Магнит включается, и поле его корежит кость, вызывая тошноту и ядовитую горечь на корне языка. Когда горечь становится невыносимой, Адам сглатывает слюну. Ком катится по пищеводу, проваливается в желудок и расползается по тонкому кишечнику, всасываясь в кровь. Кровь возвращает горечь к вискам и снова запускает магнит.

– Адам, вы меня не слушаете, – с упреком произнесла Всеслава, смыкая пальцы над столом. Лицо Всеславы оставалось в тени, а вот пальцы – тонкие, паучьи, с розовыми коготками – Адам видел четко. Пальцы шевелились, подушечки то и дело касались узенького колечка с прозрачным камнем. Камень от прикосновений вспыхивал. И магнит в голове Адама реагировал на вспышки импульсами боли.

Точка – тире.

Следует сосредоточиться.

– Вы сопротивляетесь, Адам. Это нормально. Совершенно нормально.

Она любит повторять, точно сама себя убеждая.

– Но... но мне хотелось бы найти с вами контакт. Я вам не враг.

И не друг. А кто? Случайный человек? Адам не умеет разговаривать со случайными людьми. Адам не умеет разговаривать с людьми. Его понимает Яна. И Дарья. Обе ушли.

На мгновение магнит отключился, позволяя всецело оценить ужас ситуации. А заодно и заглянуть в лицо Всеславы. Брови, клином сошедшиеся над узкой переносицей, нервные губы, лихорадочные пятна румянца на щеках.

– Вы нервничаете, – Адам не собирался произносить это вслух, но с магнитом в голове сложно отделить мысли неозвученные от мыслей озвученных. – Вы сомневаетесь, что принятое вами решение верно.

– Какое решение? – Всеслава цепляется за фразу.

– Кольцо. Новое. Подарок. Символический. Вам сделали предложение. Вы его приняли.

– Ваша наблюдательность поражает...

Скорее дает возможность сменить тему беседы. О ней разговаривать безопаснее, чем об Адаме. Адам продолжает. Он вдруг перестает видеть что-либо, кроме чертова кольца.

У Яны такое же. Нет, просто похожее.

– ...но выводы весьма спорны. Кольцо я могла бы купить сама. Или получить от... от родственницы.

Жаль, что Адам не может верно интерпретировать ее улыбку.

– Вероятность есть. Но стали бы вы носить подарок, который вам не по вкусу? Вы постоянно прикасаетесь к нему. Он мешает. Но не настолько, чтобы избавиться. Убеждаете себя, что привыкнете?

– Извините, но ваш тон... – Всеслава убирает руки под стол.

Магнит в голове шелкает, переключая режимы боли.

Надо уходить.

Рано.

– Адам. Вы понимаете, что если мы с вами не найдем контакт, то мне придется действовать иначе... иначе действовать.

Это не шантаж. Не предупреждение. Это – констатация факта. Факт Всеславе неприятен, и она снова отгораживает его забором слов.

- Что мне нужно делать? – Адам слишком устал, чтобы выстраивать второй забор.
- Найти контакт.
- С кем?

Она молчит. Смотрит под стол, пытаясь сквозь бумаги и крышку разглядеть кольцо с крохотным блестящим камушком. Думает.

- Для начала хоть с кем-нибудь. Например, попробуйте не избегать групповых занятий.
- Попробую, – пообещал Адам.

И его отпустили.

Это место отличалось от прежнего количеством степеней свободы. Пожалуй, оно походило на санаторий. Аккуратные лужайки. Фигурные клумбы, где по мере вегетации одни цветы сменялись другими. Декоративные кустарники и деревца, за которыми следили столь же тщательно, сколь и за пациентами. Яркие скворечники коттеджей. Корпуса.

Белый забор. Узорчатые ворота и будка, в которой охранник не дремлет. Видеокамеры, разделившие пространство на сферы влияния. Телефон, который никогда не звонил.

Встречи под колпаком наблюдения, на которые Дарья не приходит. Наверное, это хорошо.

Наверное.

– Адам, – мягко произнесла патронажная сестра. – Вам лучше вернуться к себе. Дождичек собирается.

До коттеджа пять метров по вымощенной желтым камнем дорожке. Внутри две комнаты и санузел. Стерильная обстановка очень дорогой больницы, которую Всеслава предлагает разбавить своими вещами. Ей не терпится заглянуть в вещи Адама, потому как она думает, что через вещи сумеет заглянуть и в голову. Существует вероятность, что она права, поэтому Адам держит вещи в «Хароне».

– Адам, – повторила сестра. – Дождичек...

– Мне нужен пластилин. Завтра. Я собираюсь заниматься с группой. Я собираюсь заниматься с группой.

– Я поняла. – Ее зовут Татьяна. Имя вышито на халате, но Адаму сложно сейчас. – Конечно, я принесу тебе пластилинчик. А сейчас давай в коттеджик пройдем. Пока дождичек не начался. А потом я за ужином схожу. Ладно?

Ему все равно.

Подавали рыбу с овощами. На вкус палтус был столь же стерилен, как коттедж Адама.

Дарья привезла бы фотографии. Не все, конечно, но некоторые обязательно привезла бы. И еще плед. Книги. Саму себя. Пару минут разговора. Кому от этого станет хуже?

Дарья забыла о его существовании. Факт следовало принять как данность.

Николаша гулял по городу. Его маршрут был определен загодя, но время оставалось свободным параметром, поэтому Николаша позволил себе не торопиться. Раз или два он замирал, когда взгляд выхватывал из толпы интересное лицо. Палец в кармане нажимал на кнопку, камера щелкала. Вечером, выгрузив в комп всю серию, он тщательнейшим образом рассмотрит каждый снимок. На некий промежуток времени он станет судьей, отделит зерна от плевел и сожжет последние в цифровой домне корзины.

Но это – вечером.

Будущему – свое время.

Свернув на боковую улицу, Николаша вышел к автобусной остановке. Ждать пришлось долго. Николаша, не выдержав, сделал десяток снимков, запечатлев для вечности голубиную возню, сигарету, зажатую в ярко-желтых, будто йодом измазанных пальцах, и желтую же маршрутку с битой левой фарой. Ехать пришлось стоя, цепляясь за ременную петлю, что

свисала с потолка. Второй рукой – придерживать кофр. Люди-мартышки раскачивались в такт движению. Их позы были гротескны и уродливы.

Достойны фотографии. Но Николаша очень боялся отпустить ношу – вдруг ударится о пластиковое сиденье или о костлявый бок пацаненка. Нет, содержимое слишком ценно, чтобы рисковать.

На конечной он не вышел – вывалился из салона и долго глотал вязкий воздух. Отдышавшись – огляделся. Место было обыкновенным, лишенным в равной степени и красоты, и уродства. И палец убрался с кнопки. Потом.

А Николашу ждали. И не желали принимать.

Женщина с очень выразительным лицом – вот ее стоило снять – задавала вопросы, а в глазах ее жило недоверие. Николаша даже испугался, что она передумает и укажет на дверь, но вдруг женщина отступила и сказала:

– Идемте. Я вас провожу.

И повела. Мимо стен, на которых белыми пятнами выделялись маски. Очень красивые маски, каждая – индивидуальна. И Николаша онемел было от подобного чуда. Палец в кармане то и дело давил на спуск, камера щелкала, запихивая куски реального пространства в цифровую память.

Лица, лица, лица... Тот, кто сделал эти лица, понимал толк в настоящей красоте. В иных обстоятельствах Николаша не отказался бы от встречи. Не удержавшись, задал вопрос.

По лицу женщины мелькнула тень.

– Эта галерея создана директором фирмы.

– Он неординарный человек, – Николаше хотелось, чтобы женщина прониклась к нему симпатией. Она же сухо ответила:

– Весьма.

– Мне необходимо будет пройти собеседование еще и с ним? – Немного волнения, взгляд ищущий, собачий, снизу вверх. И руки, молитвенно прижатые к груди.

– Нет. Вашу кандидатуру уже одобрили.

Сказано это было с хорошо скрытым раздражением. Женщине не нравилось решение. Почему?

Галерея вывела на лестницу, а лестница привела в подвал. Потянуло холодом и специфической смесью ароматов, которые Николаша не вдыхал – дегустировал. Как вино, только много-много лучше.

Женщина открыла дверь и, наконец, соизволила представиться:

– Меня зовут Анна.

– Николаша. – Он протянул руку, но Анна не ответила на жест, напротив, отстранилась.

– Николай, я искренне надеюсь, что мы с вами сработаемся.

Какое невыносимое презрение. Не в словах, не в тоне – в повороте головы и этих полуприкрытых очах. Мадонна Пресвятая, это лицо действительно прекрасно.

– Вас рекомендовали как хорошего специалиста и... и все необходимое для работы вы найдете там. Если же чего-то не хватает, составьте список.

– Все свое ношу с собой, – Николаша продемонстрировал кофр. – Вы не волнуйтесь. Я не подведу. Я действительно очень хороший специалист по... реконструкции.

Губы Анны дернулись.

Слово не нравится? Или новый сотрудник, навязанный начальством? Что ж, пожалуй, если не получится играть на симпатии, то следует использовать антипатию. Пусть держится от Николаши подальше, лишний раз брезгуя заглядывать в подземелья «Харона».

– Я войду? – Николаша ввинчивается между Анной и дверью, по-хозяйски толкает, прорываясь в формалиновое пространство морга.

Первый вдох и первый выдох. Свет бьет по глазам. И палец вновь нажимает на кнопку: камера надежнее человеческих глаз.

Щелчок. Хлопок за спиной. И сухой голос:

– Надеюсь, вам объяснили суть работы.

– Конечно.

Объяснили. Та, другая, на которую он вышел, была не похожа на Анну. Она желала поскорее избавиться и от Николаши, и от нудной обязанности выслушивать его, и от другой обязанности – принимать решения. От нее разило карамельным перегаром, каковой остается после дамских коктейлей, а в тусклых глазах жила растерянность.

У Николаши не возникло желания фотографировать это лицо.

– Что ж, – произнесла Анна, – тогда я оставлю вас.

Сказала, а уходить не спешила. Застыла на пороге, ревниво наблюдая за каждым движением. И новое ощущение, когда смотришь не ты, а смотрят на тебя, на какое-то время завладело Николашей. Он уже привык к этому имени и к личности, отрепетировав чужую жизнь до мелочей, но теперь маска истончалась. Вот-вот прорвется, и тогда...

– Извините, – Николаша заставил себя распрямиться, – но если вы мне не доверяете настолько, чтобы оставить в покое, нам лучше расстаться.

– Я вам не доверяю, – ответила Анна. – Однако в этом нет вашей вины. Просто... ситуация неоднозначная.

Извинение? Пожалуй, что так. И что гораздо лучше – короткий кивок, цокот каблучков по плитке и беззвучно закрывшаяся дверь.

Убедившись, что Анна ушла, Николаша огляделся. Помещение, в которое он попал, было лишь первым из нескольких. Ряды шкафчиков. Пластиковый стол. Стулья. Чистота. Стерильность даже. Нет ни пылинки, как будто место это вовсе не жилое, а музей.

Николаша заглянул в соседнюю комнату, представлявшую собой классический морг. Оборудован приличненько... и работа есть.

Девушка ждала на столе. Николаша оценил масштаб работы и поморщился: не тело – скульптура безумца-сюрреалиста. Смешение белого мрамора кожи и бурого гранита внутренностей. Осколки кости. Черная змея шрама, протянувшегося от ключиц к паху. Небрежные жгуты-швы. Левая половина лица фактически отсутствует. Зато правая почти не пострадала.

Найдя единственно верную точку, Николаша сделал снимок. Дальше – просто. Выгрузить в ноут. Подчистить. Вырезать. Сопоставить с другим, правильным лицом. Склеить. Доработать, ретушируя цифровой шов и создавая из старого – новое. Развернуть на экран. Поставить у стола.

И снимок – Николаша принес его с собой – спрятать. Не то чтобы это было необходимо для дела, скорее уж символично. Но символы Николаша уважал.

Мелькнула мысль подняться в офис. Там наверняка есть принтер. Но тогда неминуема встреча с Анной. А еще слишком рано...

К шести он закончил с телом. Анна приходила трижды, заглядывала, разглядывала, но вопросов не задавала. В четверть седьмого спросила, успеет ли он закончить к утру. Николаша уверил, что успеет. Он как раз почти закончил слепок.

В восемь зашла уборщица.

В девять уборщица ушла.

В десять дом затих, смирившись с присутствием чужака в подвале.

В половине пятого Николаша закончил работу.

– Ты прекрасна, возлюбленная моя, – сказал он, – и пятна нет на тебе.

Но предстояло приготовить сцену. Он переходил из комнаты в комнату, пока не нашел нужную. Огромный зал со стрельчатыми окнами утопал в дымке. Бледные личики орхидей

замерли в полусне. И столпы колонн стали вдруг похожи на стволы каменных деревьев, вросших в свод потолка.

Это было прекрасно.

Николаша бегом вернулся в морг, поднял на руки такое тяжелое, неподатливое тело и понес. Он боялся споткнуться, упасть, уронить или каким-то иным способом нарушить хрупкое совершенство новосотворенного образа.

Он уложил девушку на постамент и вложил в руку ветвь орхидеи. Откинув волосы с лица, Николаша открыл глаза и поправил макияж на зрачках. В последний миг спохватился и черным карандашом подчеркнул родинку над губой. Вернулся за камерой.

Сердце колотилось как сумасшедшее.

Только бы успеть! Пока свет. Пока солнце. Пока спящая спит.

Пластина одна. Снимок один. И повторение невозможно.

Тренога. Знакомая тяжесть камеры, кажущейся такой неудобной по сравнению с современными. Мир, сузившийся до размеров линзы объектива. И точка фокуса как момент абсолютного покоя.

Камера смотрела вовне.

Николаша смотрел в камеру. Ждал.

Утро выводило вечность на серебре дагерротипической пластины.

Вот звякнул колокольчик, и Николаша бережно извлек пластину из аппарата. Убрав сокровище в футляр, он выполз из укрытия и глянул на часы. Следовало поторопиться. Николаша собрал камеру, упаковав в ящик. Туда же отправил и футляр с пластиной – первой из многих. И тут он услышал шаги. Не робкие, крадущиеся, не нервные, цокочущие, а спокойные и тяжелые.

Человек не торопился. Он явно знал, куда идет.

Николаша замер.

Плохо. Если его застанут здесь... сейчас... рядом с телом... плохо-плохо... Николашу выгонят с работы. Придется искать новое место...

Ручка на двери пошла вниз и вверх и снова вниз, точно тот, кто был по другую сторону, не находил в себе решимости. Николаша же завороченно смотрел на движения ручки.

Вверх-вниз... вверх... вниз.

Дверь распахнулась.

Человек приближался медленно. А приблизившись, сказал:

– Здравствуй.

– Это ты? – спросил Николаша, уже зная ответ.

– Это я.

Боль вошла в тело на кончике иглы. И застряла где-то слева, там, где колотилось сердце. Сердце запнулось и остановилось, а Николаша упал. Он падал бесконечно долго, пока не разбился о линзу божественного ока, и то запечатлело фигуру, нелепо растянувшуюся на дорожке.

Убийца же положил шило рядом с телом, поднял короб с камерой и, подойдя к мертвой девушке, нежно коснулся щеки.

– Прости, милая, я не успел, – сказал он прежде, чем уйти.

В группе – пять человек, включая Адама.

Номер один. Худой парень с нервным тиком. Руки комкают пластилин, выковыривают куски и роняют их на пол. Парень хихикает.

Номер два. Бесполое существо в сером балахоне и заляпанных краской шароварах. Существо рисует вдохновенно, пальцами выковыривая гуашь из банок. Пальцами же смешивает и размазывает по холсту.

У номера третьего лицо престарелой гимназистки и руки прачки. На лице застыло выражение нервное и растерянное, а руки спокойно лежат на складках черной юбки. Ткань заканчивается на ладонь выше щиколоток, позволяя разглядеть тонкие ноги в серых чулках и туфли на низком каблуке. К туфлям полагаются пряжки с зелеными камнями, к юбке – белая блуза с кружевным воротником.

Женщина смотрит на столик. Перед ней – пазл на два десятка кусков. Яркие, крупные, удобные для таких неповоротливых пальцев, как у третьего номера.

Номер четвертый – блеклая дамочка с силиконовыми губами – делает вид, что смотрит в окно. На самом деле она придиричливо разглядывает собственное отражение, размытое светом.

– Адам, рада, что вы решили посетить занятия. – Дежурная сестра улыбается. – Присаживайтесь.

Он волен уйти. Сейчас. Дверь рядом, и задерживать не станут.

Адам подчиняется просьбе.

В комнате столов больше, чем людей. Люди заняты. Следует найти занятие. Совместная работа сближает. Адам подвинул коробку с восковыми карандашами и раскраской. Открыв наугад – лужайка и крылатые пони, – Адам приступил к работе. Достичь равномерного распределения зеленого тона оказалось не так просто. Но постепенно Адам нашел нужный угол наклона карандаша и оптимальное давление. Механизм действий не нес смысловой нагрузки и не мешал наблюдать за участниками группы.

Некоторое время ничего не происходило.

Номер первый мямля пластилин. Второй рисовал. Третья и четвертая бездействовали. Время тянулось.

– Она любила рисовать, – вдруг сказала номер третий. – Она очень любила рисовать.

Номер второй дернул плечом и, зачерпнув горсть гуаши, поставил посреди желтого холста зеленое пятно.

– У нас в роду художников не было. Я вот линию не проведу.

Номер второй провел. От пятна к краю картины. И вторую, перпендикулярную первой.

– А она рисовала. С детства самого. Дашь ей альбом, и нету Анюточки... нету Анюточки.

Номер третий вдруг согнулась и зарыдала.

Первый выронил пластилин. Второй – банку с желтой гуашью, из которой по полу разлетелись яркие брызги. Отложив книгу, дежурная сестра поднялась. Она шла медленно, точно надеясь, что истерика утихнет сама собой, но номер третий обняла себя – красные руки на белой блузе, точно два краба на песчаном берегу, – и принялась раскачиваться на стуле. Ее рыдания перешли в горловой клекот.

Его оборвал укол. Тонкая игла вошла в предплечье и застряла ровно настолько, чтобы впрыснуть яд в медикаментозной дозе. Заботливые руки персонала подхватили женщину, поволокли, обессиленную, прочь. Адаму вдруг представились муравьи, втаскивающие гусеницу в муравейник.

– Она дура, – вдруг произносит номер второй. – Нельзя научить рисовать. Талант нужен.

На его холсте много цветных пятен. Номер второй доволен. Номер первый спит, уткнувшись лбом в стол. Руки его свисают мертвыми плетями, и рядом с левой валяется пластилиновый ком.

Пластилин еще теплый, но тугой. Он не похож на глину, но Адам заставляет себя разминать ком. Скатать в шар. Расплющить. Снова скатать, смешав цвета в одну бурю податливую массу.

Из массы лепится лицо.

Высокий лоб. Зауженный подбородок. Нос крупный и с горбинкой. Ногтями наметить глаза и короткие, вечно взъерошенные волосы. Работа увлекла. И только закончив, Адам понял, что хотел вылепить совсем другое лицо.

А потом понял, что больше не помнит этого лица. Это было по-настоящему страшно.

Что может быть смешнее престарелой кокотки? Кокотка с претензиями. Дашка вцепилась зубами в соломинку и вытащила бумажный зонтик из коктейля. Господи, да что она вообще в этом заведении забыла? Определенно – мозг.

– Вы чем-то расстроены? – Темноволосый мальчишка в узких джинсах пошел на новый виток. Он с самого начала описывал круги, помечая территорию вопросами и многозначительными взглядами.

Мальчишка был смешон. Дашка себе – отвратительна.

– Нет, – огрызнулась она и выплюнула соломинку. В конце концов, хватит притворяться. Она ненавидит коктейли, бары и дискотеки. Ее воротит и от ресторанов, и от клубов. Ей просто невыносимо быть одной.

В доме пустота. Пыль по углам – у Дашки нет сил убираться, – вещи грудami. Кофе давным-давно закончился. И конфеты тоже. В холодильник она третий день не заглядывала, но про кофе помнит. И вроде бы чего уж проще – пойти, купить, но сама мысль о движении вызывает тошноту.

Или это коктейль виноват?

– Такая девушка, как вы, не имеет права грустить, – с придыханием заметил парень, ввинчиваясь в соседнее кресло. – «Мохито»! И сок яблочный.

– И коньяка, – добавила Дашка. Если уж напиваться, то лучше коньяком, чем этой ядовитой сладостью. А себе мальчишечка сок придвинул. Надо же, какой правильный.

У парня остренькое личико с мелкими чертами. Невыразительное. Скучное. И Дашке скучно. А еще тоскливо, но о причинах тоски лучше не думать.

Коньяк подали, и Дашка опрокинула рюмку. Гортань обожгло. В желудке полыхнуло жаром, и кровь пошла быстрее.

Хуже престарелой кокотки – пьяная престарелая кокотка. Ну и плевать.

Паренек смотрел поверх стакана с соком.

– Тебя как звать? – спросила Дашка.

– Артем.

И ростом он был на голову ниже. С другой стороны, вдвоем всяко лучше, чем одной. Очередная рюмка утопила остатки душевных терзаний и на время разрешила вопросы морали и аморальности. Утром Дашка разберется.

Утро наступило не по расписанию. Трель звонка пробилась сквозь толщу сна и выбила Дашку в мир яви. Мир встретил абстинентной мигренью, сухостью во рту и острым ощущением совершенной ошибки. Впрочем, все это было привычно.

Телефон разрывался.

Свесившись с кровати, Дашка зашарила по полу, пытаясь на ощупь обнаружить трубку. Та, как назло, ускользала, теряясь в ворохе одежды. Но не умолкала.

– Каждый день – дребедень. – Наконец пальцы коснулись пластикового корпуса. И телефон заткнулся. Правда, ровно для того, чтобы через секунду вновь разразиться ехидной трелью.

– Слушаю, – сказала Дашка, раздумывая над тем, чтобы послать к черту и телефон, и звонившего.

– Это Анна. У нас убийство. И происшествие. Приезжайте, пожалуйста.

И Анна отключилась. А Дашка, уставившись на темный дисплей, попыталась уложить в голове два слова. Убийство. Происшествие. Фигня какая.

Сев в кровати, она провела руками по волосам – скользкие и слипшиеся колючими прядками. Кожа на физии шершавая, с оспинами. А на предплечье – синяк. Откуда?

Татуированный змей, обвивший запястье, уставился каменными глазами.

– Надо ехать, – сказала Дашка. – Надо ехать. Там убийство. И происшествие.

Одеяло рядом вдруг зашевелилось, выпуская взъерошенную мальчишечью голову.

– Ты уже встала? – Сонные глазенки моргали, а на щеке виднелся красный след подушки.

– Ты кто? – спросила Дашка.

– Артем.

– И где я тебя подцепила, Артем?

– В «Поляре». – Он сел. Тощее тело с выпирающим хребтом и арками ребер, канатики мышц под смуглой кожей и детский пушок на груди.

Докатилась, матушка.

– Ты вчера набралась, – сказал Артем, почесав пятерней щеку. Затем добавил: – Я тебя подвез. Ты потребовала, чтобы я остался. Я и остался.

Замечательно.

– Отвернись, – велела Дашка. Парень подчинился, позволяя ей отступить к ванной комнате. Там, под струями холодной воды, она трезвела, переполнялась к себе привычным отвращением и пыталась вспомнить прошедший вечер. В голове мелькали светотени, громыхала музыка, изредка пролетали вопросы.

Кажется, Дашка пила и жаловалась.

Потом просто жаловалась.

Потом просто пила.

Потом вспоминать стало нечего.

– Твою ж... – Дашка приложилась лбом к мокрой плитке. – Дура! Идиотка!

И змей на запястье соглашался: именно так.

В какой-то момент недавнее прошлое отступило, перечеркнутое двумя словами: «убийство» и «происшествие». Убийство. Происшествие. Анна просила приехать. Надо ехать.

Убийство...

– Черт, – сказала Дашка, глотнув мыльной пены. – Черт...

Мальчишка не убрался, но хотя бы оделся. Мятая рубашонка мутно-зеленого колера, узкие джинсики и черные тяжелые ботинки с коваными носами. Просто чудо, до чего хорош.

– Я сейчас уйду, – Дашка старалась не глядеть ему в лицо. – И ты уходишь. Мы с тобой не знакомы и знакомы не были. Ясно?

Артемка пожал плечами и кивнул. А потом спросил:

– У тебя проблемы?

Нет у нее проблем. Разве что убийство. Кого убили-то? Надо уточнить. перезвонить. Сделать что-то, но голова совершенно не соображает.

– Могу подкинуть, – предложил Артемка. – Я на колесах.

Колес было два. К ним прилагались массивная рама, увенчанная огромным рулем, и жесткий шар бензобака. Сиял хром, маслянисто поблескивала черная кожа.

– Это твой? – Дашка перевела взгляд с мотоцикла на Артема. С Артема на мотоцикл. Между двумя объектами не могло быть ничего общего. Разве что шлем в руках Артема. – Это твой?! И мы вчера на этом приехали?! Я вчера на этом приехала?!

Не помнит! Ни черта не помнит!

– Мой, – Артем погладил кожаное сиденье с бахромой. – И тебе понравилось кататься. Он вдруг густо покраснел и сказал, оправдываясь:

– Да ты не бойся. Я с восьми лет катаюсь. У меня батя – гонщик.

– А ты? – Какая ей разница? Дашка трезвая и не сядет на этого зверя.

– А я – неудачник, – спокойно ответил Артем, протягивая шлем. – И трус.

Номер третий сидела на лавке. Спина прямая, руки сложены на коленях, край юбки касается травы. Именно эта неестественная неподвижность и привлекла внимание Адама. Он, наблюдая, остановился в тени декоративного вяза.

Мужчина шел от ворот. Он нервно оглядывался, то и дело дергал головой, прижимаясь ухом к левому плечу. На празднично-ярком фоне лужайки выделялось черное пятно костюма, с которым дисгармонировали белые кроссовки.

Подойдя к лавке, мужчина остановился.

Адам не слышал разговора, скорее носившего характер монолога. Гость отчаянно жестикулировал, пытаясь пробиться сквозь стену безмолвия если не словами, то жестами. Номер третий по-прежнему оставалась безучастна.

Наконец мужчина утомился. Он некоторое время стоял, сунув руки в карманы, затем вытащил белый прямоугольник, который положил на лавку. Сам же развернулся и зашагал к воротам. Номер третий не шелохнулась.

А вот на приближение Адама она отреагировала:

– Ты еще не ушел? Почему ты еще не ушел? Уходи.

Адам остался.

– Это ты ее убил. Я знаю. Я никому не скажу. Но уходи.

Карточка, оставленная гостем, лежала на скамейке. Женщина ее не видела.

– Почему ты не оставишь нас в покое? Я знаю. Это ты убил ее.

– Почему?

– Потому что тебе невыносимо думать, что мы можем жить сами. Без тебя.

Она все-таки повернулась к Адаму. Желтоватое лицо, изможденное до крайности бессонницей. Адам знает: в темноте живут воспоминания, и страшно закрыть глаза, потому что каждое – бесценно. Ты лежишь, уставившись в потолок, но глаза слепы. Ты не в настоящем – в прошлом. Редкие провалы в сон причиняют дополнительную муку. Пробуждение сродни новому осознанию реальности.

– Она умерла. – Адам поднял карточку. Фотография. Девять на двенадцать. Глянцевая поверхность. Качественная печать. На обратной стороне – маркировка «Кодак». На лицевой – счастливая семья. Женщина в белом платье и соломенной шляпке. Тень на лице сродни вуали. Видны лишь губы, узкие, сжатые, точно женщина заставляет себя молчать. Руки ее лежат на плечах светловолосой девочки. Ей лет десять-одиннадцать. Мужчине – чуть за тридцать. На нем черный костюм с узким галстуком, похоже, что тот самый, надетый сегодня.

– Это ваша дочь?

– Моя дочь умерла, – женщина вдруг выхватила фотографию из рук Адама и разорвала пополам. Сложила и снова разорвала. Широкие руки ее были сильны. – Кто вы такой?

– Адам, – представился Адам. – Вы нуждаетесь в помощи.

– Все нуждаются в помощи. Вас тоже здесь заперли?

– Скорее я сам заперся.

Следовало уходить. Общение с номером третьим – не то, что Адаму нужно.

– Также решение. – Женщина поднялась и, протянув руку, сказала: – Сопроводите меня.

– Куда?

– Куда-нибудь. Кто у вас умер?

– Жена, – Адам не собирался отвечать, но ответил.

– Давно?

– Да.

– И как? Время и вправду лечит? Прошли годы, и вам полегчало? Или наоборот? – Ее широкая ладонь легла на сгиб локтя. Адаму хотелось стряхнуть руку, но он сдержал порыв.

Номер третий потянула на дорожку. Шагала она широко, и юбка-колокол то и дело хлопала по ноге Адама.

– Так вам стало легче? – повторила она вопрос, дойдя до поворота. – Отвечайте. Вы заглянули в мои тайны. Я имею право заглянуть в ваши. Это справедливо.

Это бессмысленно, но Адам ответил. Он сказал то, что мучило его со вчерашнего вечера:

– Я забыл ее лицо.

– Это плохо?

– Я не забываю лиц. Я помню всех, кого... с кем работал. Каждого человека за последние пятнадцать лет.

– Кроме нее? Обидно, наверное?

Номер третий все-таки отпустила его руку.

– И вы думаете, что со мной случится то же самое? Что наступит день, когда я забуду Анютино лицо?

– Подобная вероятность существует.

– Нет, – отрезала она. – Не существует. Я никогда не забуду свою дочь. А вы... вы просто недостаточно сильно любили жену.

И, подхватив юбки, она бросилась прочь.

Этот дом был достаточно стар, чтобы иметь историю. Возведенный в середине девятнадцатого века, он успел повидать изрядное количество жильцов. Помимо жилых квартир, имелись в нем и купеческие лавки, сгоревшие в пламени революции вместе с владельцем дома и многими жильцами. Освободившиеся помещения пустовали недолго. По распоряжению Совнаркома жилые площади были отданы страждущим, нежилые – конторам. Так сменили друг друга проектное бюро, склад гуталина и архив городского управления. Последний был вывезен в сорок первом году в неизвестном направлении, а в доме ненадолго обосновалась немецкая канцелярия, после войны преобразившаяся в магазин «Ткани и пуговицы» и фотоателье «Улыбка». Оно-то и протянуло до середины девяностых, когда помещение вдруг оказалось приватизировано неким господином характерной наружности и с большими, согласно времени, возможностями. По его велению был начат ремонт, заставивший дом содрогнуться от фундамента до старенькой крыши. Но не прошло и полугода, как точку в ремонте поставила пуля, отправив нового хозяина жизни в лучший из миров. Полуразваленная квартира кочевала из рук в руки, то прибавляя, то теряя в цене. А потом, не выдержав конкуренции с элитными новостроями, надолго повисла на шее посредника. После двух лет мытарств он с превеликой радостью избавился от неудачного вложения капитала, спихнув его за четверть исходной цены.

И снова начался ремонт, к которому дом отнесся с философским спокойствием. Тем паче строители, повинувшись прихоти владельца, не ломали, но скрупулезно восстанавливали исходную планировку.

Окончание ремонта ознаменовалось появлением белых жалюзи на окнах и старенького грузовика, из которого в дом переносили картонные коробки. Грузовик исчез, жалюзи остались. Хозяин не приходил.

Нельзя сказать, что квартира была вовсе нежилой. Иногда у дверей появлялись женщины, все до одной молодые и красивые. Они приходили под вечер, а уходили за полночь, порождая самые удивительные слухи. Впрочем, ни один из них и близко не соответствовал правде.

За железной дверью, снабженной четырьмя замками, находилась квартира самая обыкновенная, разве что несколько заблудившаяся во времени.

Простая кухня со старой газовой плитой, на которой из четырех конфорок работали две. Кухонные шкафчики с белыми пластиковыми фасадами и белая же плитка с нехитрым узором. Обои «Березка», ковры из скрипучей синтетики на стенах и вязанные половички на полу. Лампа-журавль на длинной ножке и пучеглазый телевизор «Рубин», на экране которого лежал толстый слой пыли.

Человек сидел на полу и раскладывал веером фотографии. Рядом на круглом столике находились альбом с серыми картонными страницами, клей в тюбике и уголки для крепления снимков. Отдельной стопкой, придавленной бюстом Гоголя, лежали газетные вырезки.

Человек работал медленно. Он поднимал фотографию, подносил ее к лампе – желтое пятно света отпечатывалось на глянцевой поверхности – и тщательно разглядывал. Затем, вооружившись маникюрными ножницами, он прокалывал снимок и аккуратно вырезал лицо.

На пол летели обрезки толстой бумаги, а испорченная фотография укладывалась в альбом.

– Хорошо, – приговаривал человек, зажимая мизинцами уголки. Держать приходилось долго – клей схватывался не сразу. Но человек не проявлял недовольства. Напротив, найдись свидетель, он весьма удивился бы счастливой улыбке хозяина квартиры. А еще тому, что фотографии в альбоме обретали целостность: место вырезанных лиц занимали иные. Или вернее будет сказать – иное. Всегда одно. Всегда прекрасное.

Приклеив снимок, человек ретушировал зазор и покрывал весь альбомный лист несколькими слоями лака. А уже после, глядя на свое творение, цокал языком и повторял:

– Хорошо. И хорошо весьма.

Закончив, он раскрыл альбом на первой странице.

– Видишь? У меня получается. У меня все получается! Уже недолго ждать.

Темноволосая девушка в длинном наряде начала века улыбалась в ответ.

Жизнь не устала преподносить пошловатые сюрпризы, и очередным стала встреча с Вась-Васей. Он курил, явно поджидая Дашку, а дождавшись, поприветствовал поднятой рукой.

– И тебе хайль, – ответила Дашка, сползая с мотоцикла.

Шлем она вернула хозяину, волосы пригладила и поинтересовалась:

– Что случилось?

– Убийство, – ответил Вась-Вася, разглядывая не столько Дашку, сколько Артема. А тот не спешил убираться.

– Тебя подождать? – поинтересовался Артем, а Вась-Вася ответил:

– Нет. Она надолго.

За забором начиналась территория, которая отторгала Дашку, как чуждый элемент.

– Новый друг? – Вась-Вася следовал по пятам.

– Знакомый.

– Не мое собачье дело?

– Именно.

А здесь ничего не изменилось. Тумблер переключил зиму на лето с его припыленной травой и поставил время на паузу. Здания стоят. Фонари торчат пиками из зеленой стены кустарника. Темно-синие ирисы смотрят на солнце.

– Кого убили? – Лучше разговаривать, чем спиной ощущать насмешливый и вместе с тем виноватый взгляд. Дашка не нуждается в жалости.

С ней все в норме.

В совершеннейшей норме.

– Николай Федорович Луничев.

Имя знакомо. Но Дашка не сразу вспомнила, где его слышала.

Николай. Николаша. Именно так он сказал, представляясь: «Николаша» – и руку протянул белую, словно тальком присыпанную. Сам Николаша походил на пупса-переростка, обряженного в нелепый костюм. Желтый пиджак в крупную клетку, мешковатые брюки, затянутые ремнем, конец которого выглядывал из-под рубашки. Рубашка же черная, с атласным отливом.

– Я его наняла. Вместо Адама. Надо было кому-то работать. Или закрыть всю эту шарашкину контору, или нанять кого-то. Ты же понимаешь?!

– Стой, – Вась-Вася схватил за локоть и потянул, заставив Дашку обернуться. – Я понимаю. Все нормально, Дашунь. Все хорошо.

Говорит, как с неизлечимо больной, а Дашка здорова. Просто голова слегка гудит, и утро не задалось. Сейчас еще Анна появится с извечным укором в серых очах.

– Так что там с убийством? – Дашка высвободила руку.

– Пойдем, сама увидишь.

Перекрестный огонь мертвых взглядов. Каждая маска – упрек. Каждый шаг – подвиг. Пара вежливых фраз на откуп незнакомым людям. Кивок Анне.

Мизансцена зала.

Дашка видит и не видит его. Каждая деталь здесь настолько знакома, что нет нужды смотреть – память подскажет. И следы чужого присутствия затрет. Колонны. Вазы. Постамент. Девушка, лежащая на нем. В руке ее орхидея. Глаза раскрыты. Девушка немигающим взглядом смотрит на Дашку, и в горле разбухает ком.

– Она тоже мертвая? – Голос сорвался на шепот. А Вась-Вася кивнул в ответ.

Мертвая. И второй, в пару, на полу лежит. Этот некрасив. Черная рубашка, белая кожа, глаза пялятся в потолок, а на щеке черный кровавый подтек.

– Три проникающих, – интимным шепотом пояснил Вась-Вася. – Два в грудь, одно – в левый бок. Его очень хотели убить.

– А ее?

– А она, Дашунь, уже третий день как мертва. Сегодня похороны должны были состояться...

Дашка не знала. Точнее, она не желала знать, вникать, влипать в эту чужую работу, делая вид, что все – временно. Сначала еще пыталась, когда верила, что Адам вернется.

А он не возвращался.

– А знаешь, что особо интересно? – спросил Вась-Вася. – Паспорт у покойника поддельный. Что ж ты, матушка, не проверила, кого на работу берешь?

Весы издевались. Плюс сто двадцать пять грамм. Когда? На чем? Елена с тоской принялась вспоминать вчерашний день.

Утро – стакан минеральной воды без газа.

В одиннадцать дня – обезжиренный творог.

Обед – сто грамм отварной телятины, два помидора-черри и лист салата.

Полдник – яблоко.

Ужин – обезжиренный кефир и две гренки из ржаного хлеба.

Так откуда эти разнесчастные сто двадцать пять грамм?!

Настроение испортилось моментально. Пожалуй, придется отказаться от гренок. Или лучше от яблока? Или, может, просто немножечко урезать порции?

– Лен, ну ты скоро? – Динкин недовольный голос столкнул с весов.

Елена умылась, почистила зубы и нехотя выползла из ванной. Вот Динке хорошо. Она жрет в три горла и не полнеет. Хотя у Елены имелось подозрение, что дело вовсе не в Динкином расчудесном обмене веществ, а в таблетках, которые та глотала.

Ну и дура. Все знают, что таблетки для похудения – для тех, кому себя не жаль. А себя Елена любила. Встав перед зеркалом, она произнесла:

– Я красива, умна и удачлива. Сегодня мне повезет.

Улыбнулась, ощущая, как пробуждается в теле позитивная энергия.

– Ле-е-нка! Не тормози! Если опоздаем, Валик живьем сожрет! – Вылетев из ванной комнаты, Динка на ходу запрыгнула в джинсы.

Никакого вкуса в одежде. Но Валик Динку любит. Говорит, у нее лицо характерное. Врет. Обыкновенная у Динки морда. Покатый лоб, нос массивный с вывернутыми ноздрями и подбородок мужской, кирпичный. Кожа не очень хорошая, вечно ей приходится прыщи тоналкой замазывать. А все от таблеток и неправильного питания. А что до Валика, то понятно, через какое место он расчудесную Динкину красоту узрел.

Из-за мыслей и еще потому, что Динка опять поперла колготки, Ленка все-таки опоздала. Валик, конечно, разорался, обозвал тупой коровой, но как-то без особой злости. Зато Мымра сунула самый неудачный вариант – комбинезон из лилового шелка. А Динка в алом платье уже выплясывает перед камерой. Стерва она.

– Голову! Голову выше! Теперь влево... вправо... покружись! Да не топчись, как корова на лужайке. Кружись! Легче! Вот...

– Глинина, не спи.

Мымра, конечно, не упустила момента укусить.

А комбинезон сел плотно, как влитой. И ремни его неприятно впились в плечи. Цвет еще бледный, сливающийся с кожей.

– Морду поярче нарисуй, – велела Мымра и присела рядышком, взглядом полируя Елену. А взгляд тяжелый, оценивающий. И пустой желудок сжался, боясь услышать то, что поставит крест на Елениной карьере.

– Через две недели будет набор на приличную сессию. Порекомендую тебя, – Мымра потрогала указательным пальцем бородавку. Бородавка у нее была знатная – круглая, ввинтившаяся в щеку черной ягодиной.

– С-спасибо, – подобной любезности Елена не ожидала.

– Портфолио у тебя дерьмовое.

– Так Валик...

– У Валика руки из жопы растут, – без эмоций заметила Мымра и положила визиточку: – Вот. Сходишь. Скажешь, что от меня. И смотри, чтобы вовремя явилась. Понятно?

Елена накрыла визитку ладонью. Расклад понятен. Откажешься – вылетишь. Явишься и... если что – глаза закрыть да перетерпеть. Все так делают.

Звонкий Динкин смех прибавил решительности.

– Я не подведу, Евгения Марковна.

Но Мымра уже испарилась. Остаток дня прошел как в тумане. Елена двигалась, исполняя указания Валика, но мысли ее вертелись вокруг кусочка картона. Белый. Плотный. С одной стороны неброское: «Фотоуслуги». С другой – адрес, написанный колючим почерком Мымры.

И время: четверть одиннадцатого.

– Тяжело с тобой, Ленка, – Валик дал отбой. – Вроде и ниче, а морда невыразительная. Камера таких не любит.

– Просто у тебя руки из жопы растут.

Валик фыркнул и обиделся. Теперь точно серия насмарку пойдет. И хорошо, если одна.

– Извини, – буркнула Елена. И решилась: будь что будет. Но шанс она использует. Она заслужила.

Полиция в конце концов убралась, оставив Дашку опустошенной и вымотанной до предела. Она просто села у стены, вытянула ноги и закрыла глаза. И сидела, как показалось самой, вечность. А часы утверждали, что вечность эта уместилась в три минуты. Закончилась она с сухим пощелкиванием каблучков по полу. Приблизившись на расстояние трех шагов, Анна замерла.

– Что? – спросила Дашка. – Я его не убивала.

– Я ухожу.

– Иди.

Катись к чертовой матери и оставь Дашку в покое.

– Вы не поняли. Я совсем ухожу. Увольняюсь.

Следовало ожидать. Странно, что она продержалась так долго. Верная собачонка на страже имущества. Вот хозяину на имущество насрать. Так почему Дашка дергаться должна?

– Мне жаль, – продолжила Анна. – Мне хотелось бы помочь вам, но я вижу, что эта помощь скорее во вред. Если вы сами не разберетесь со своими проблемами, то...

– Я закрою контору, – перебила Дашка, открывая левый глаз.

– В данных обстоятельствах – это не самое худшее решение. Происшествие привлечет внимание, и...

– И польется дерьмо на наши головы.

Дашка представила желтушные заголовки. «Патологоанатом-некрофил погиб зловещей смертью». Или вот еще: «Месть мертвеца». Как вариант: «Смертельная любовь».

Весело будет. Определенно.

Дашка поднялась и пригладила волосы. Голова гудела жутко. Выпить бы. Кофеечку. А лучше – кофеечку с коньячком для тонуса и ясности мышления. Но коньяка в «Хароне» точно нет.

Анна ждет. Чего? Признания в любви? Подписи под заявлением об уходе? Или уговоров? Не станет Дашка ее уговаривать.

– Чего ты от меня хочешь?

На прямой вопрос Дашка получила очередной обтекаемый ответ:

– Вы сами знаете.

Еще бы знать, что с этим знанием делать.

– Идемте, – Анна повернулась на каблучках. – Зал должны привести в порядок.

Песок. Окурки. Фантик от конфеты и жевательная резинка у порога. Мелкий человеческий мусор, которому не место в обители скорби. А девчонку все-таки похоронят. С запозданием. Это как в аэропорту: «Рейс откладывается». И терпеливые пассажиры дремлют на пластиковых стульях. Правда, нынешним пассажирам придется заплатить и за терпение, и за молчание.

Главное, чтоб до суда дело не дошло.

– Поддельный паспорт. Поддельный диплом. Поддельное резюме. Что настоящее-то? – Дашка спрашивала у себя, но ответила Анна:

– Умение.

Пояснить соизволила, лишь когда оказалась снаружи.

– Тело было в ужасном состоянии. Множественные переломы, ссадины, разрывы. Лицо... о лице как таковом речи не шло. А он сумел восстановить. Не знаю, как, но... он точно знал, что делает. Я и не предполагала, что подобное возможно.

– Значит, умение...

Уже что-то. Умение с неба не падает. Следовательно, Николаша где-то его добывал. Оттачивал. А потом случилось нечто, заставившее человека перелинять. Сбросив старое имя, он переродился, но лишь затем, чтобы умереть.

Обидно, наверное, вот так.

– Его вещи забрали? – спросила Дашка. – И морг осмотрели?

Анна кивнула.

– Ну мы еще разок осмотрим. Мало ли... вдруг чего интересного пропустили?

Надежда слабая, но, если ничего не делать, становится вовсе невыносимо. Дашка спустилась вниз, стараясь не обращать внимания на Анну. Знакомо завоняло. Все так же гудел кондиционер, и холодный воздух обнял разгоряченное тело. Головная боль отступила, а вот жажда стала острее.

Дашка двинулась по периметру, уже не единожды осмотренному, но алгоритм работы требовал повторения. Снова песок. Снова окурки. Снова фантики. Дверцы шкафов раскрыты. Стандартное содержимое перевернуто.

Зеленые хирургические халаты. Пластиковые фартуки нежно-голубого оттенка. Наручники. Распотрошенная коробка с перчатками, в ней тоже ничего необычного.

Во втором зале разгром менее заметен. Белый свет стирает ненужные детали, вырисовывая ряды плитки. Сияет хромом инструмент на накрахмаленном полотенце... стоп.

Полотенце. Инструмент кладут на поднос или на стол, но уж никак не на махровое полотенце. Дашка пощупала край – тонкое, шерстяное. Сложено вдвое. А в складке прячется фотография.

Черно-белая или скорее буро-бежевая, с потрепанными краями и трещинами на лицевой поверхности. Некогда плотная бумага стала мягкой, изображение тонуло в ней.

– Что вы нашли? – В голосе Анны прорезалось любопытство.

– Понятия не имею, – Дашка поднесла снимок к столу и, положив, подтянула лампу.

Фон все равно расплывчат. Видны кровать с балдахином и лежащая на ней девушка. Поза знакома. Вытянутые ноги – левая чуть согнута в колене. Ладонь накрывает стебель розы. Глаза открыты. Странные.

Девушка слепа?

Девушка мертва.

И судя по состоянию фотографии, умерла она очень давно.

Дашка потеряла виски. Думай, голова. Думай! А лучше возьми телефончик и позвони Вась-Васе. Пусть он думает. Ему за это деньги платят.

– Папку принеси. Файл. Лист картона, – велела Дашка, склоняясь над фотографией. Трещины скрадывали мелкие детали, но все же Дашка разглядела узор на балдахине и покрывале кровати. Банты на туфлях усопшей. И родинку – на лице. Крупную черную родинку.

Дашка совсем недавно видела точно такую. И эта деталь не являлась совпадением.

Определенно не являлась.

А проверить было легко. Дашка и проверила. Она нашла тело, уже переодетое и уложенное в гроб. Разрисованные глаза были прикрыты веками, волосы украшены белыми цветами, и покойница выглядела не страшной, скорее уставшей.

– Тебе бы с Адамом поговорить, – сказала Дашка. – Он бы тебя понял. Он с мертвецами на одном языке разговаривает. А я вот бестолковая.

Черная родинка сидела над верхней губой. Похожа на ягоду смородины, приклеенную к коже.

– Вообще мне жаль, что так получилось. Ты, конечно, меня не слышишь, потому что все это глупости. Про душу, в смысле, которая ходит и слушает. Но если вдруг ты все-таки ходишь и слушаешь, то прими мои извинения.

Не те слова. И вообще слова не нужны. Просто-напросто Дашке противно прикасаться к телу.

– Того, кто это сделал с тобой, убили. Наверное, так справедливо. А я найду убийцу. И это тоже будет справедливо. Вот такая, блин, глобальная вселенская справедливость на примере отдельно взятой похоронной конторы.

На долю секунды Дашке показалось, что усопшая улыбается. По спине побежал предательский холодок, а руки затряслись.

Пить надо меньше. Тогда и мерещиться не будет.

И Дашка, решившись, коснулась родинки. Сухая. И холодная. А на пальце остался черный след.

Настоящая родинка была розовой, бледной. И данное обстоятельство не устраивало Николашу.

– А мы ошиблись, – сказала Дашка, когда Анна вернулась. – Он подделал документы не для того, чтобы спрятаться. Он подделал их, чтобы попасть сюда. К ней. Посмотри внимательно.

Анна послушно взяла фотографию в руки.

– И скажи, разве она тебе не знакома?

Приятно было смотреть, как изменяется выражение ее лица. Вспышками мелькают понимание, удивление, гнев, растерянность.

– Он... он что, сделал ей другое лицо?

Не другое. А то, которое должно было быть. По его представлению.

– Именно, – ответила Дашка, убирая снимок в файл. По-хорошему надо отдать его Вась-Васе, но Дашка уже знала: не отдаст. Не из ревности или обиды, а потому что в последние полчаса она снова чувствовала себя живой.

Охота на психа, как лекарство от депрессии? А почему бы и нет?

На место встречи Елена явилась за пятнадцать минут до назначенного срока. И, очутившись у старого дома кирпичной кладки, поняла, что эти пятнадцать минут станут самыми длинными в ее жизни.

Секундная стрелка бежит по циферблату. Карточка от Мымры прилипла к ладони.

Уйти нельзя остаться?

Бороться нельзя сдаваться?

Бесконечное множество вариантов знакомой конструкции. Главное – правильно поставить запятую.

Елена пошла вдоль дома. Некрасивое место. Квадраты окон мутны. Подоконники широки. Водосточные трубы пестрят ржавчиной, а кирпич черен, будто его дегтем измазали.

Елена знает такие дома. В них холодно и зимой, и летом. Сырость живет и пропитывает одеяла, подушки и одежду. Запашок пробивается сквозь вуали ароматизаторов и духов. Хуже его лишь вонь помойки. Баки ставят близко к окнам, а убирают через раз. И набившись доверху, мусор гниет и плодит мушиные полчища...

Самое отвратительное, что такие дома держат людей. От них не избавиться, как бы далеко ты ни уехал. Придет срок, и родные двери распахнутся со скрипом, а недовольная матушка скажет:

– Здравствуй, Ленка. Нагулялась?

Нет уж! Она не для того убегала, чтобы возвращаться. И удержится на свободе.

Кнопку звонка Елена нажала точно в срок. Дверь открыли, и человек в синем байковом халате сказал:

– Проходи. Бахилы надень.

Натягивая бахилы – все-таки не рассчитаны они были на пятидюймовый каблук, – Елена слышала, как щелкают замки, отрезая ее от внешнего мира. Руки дрожали. Сердце колотилось.

А если он псих? Если Мымра не помочь – избавиться от Елены желала? Глупости. Мымра и сама справилась бы. Одно слово, одно нажатие клавиши, и Елена исчезает из базы...

...Но не из жизни?

– Прямо, – скомандовал человек. – Звать как?

– Елена.

– Елена... Прекрасная... ну да.

– Я и вправду Елена! По паспорту!

– А я Дмитрий. По жизни.

Квартира поразила убожеством. Если этот Дмитрий и вправду такой спец, к которому лишь по рекомендации попасть можно, то почему нормальный ремонт не сделает? Старые обои. Древняя мебель. Комод точь-в-точь как у бабки Елены – скрипел постоянно, а разбухшие от сырости дверцы не закрывались.

И пастушка фарфоровая знакома, к ней пастушок полагался. Бабка расставляла статуэтки на разные концы полки, воздвигая между ними преграду из книг, а Елена жалела влюбленных и снова сводила вместе.

– Сюда, – Дмитрий указал на дверь, выделявшуюся среди прочих. Те – деревянные, крашенные, эта – железная и блестит металлом. И замок сейфовый.

Во что ты влипла, Леночка?

Тоскливо вспомнились решетки, стоящие на окнах.

Но за дверью оказалась не пыточная и не бордель, а обыкновенное стерильно-белое пространство студии. Вспыхнул свет, ослепив на миг. И жесткие пальцы Дмитрия вцепились в щеки, задрав голову.

– Хорошо. Фактура нормальная.

Это лицо, а не фактура!

– Переодеваться там. И морду умой.

– Но...

Дмитрий повернулся спиной. Он не собирался объяснять приказы. Елена подчинилась. В конце концов, все не так и плохо. В этой квартире и вправду оказывали фотоуслуги.

Вот только наряды были несколько странны. Всего пять. К каждому положена бирка с номером. И под первым номером – комплект: белая блуза и черная юбка из жесткой ткани. Пара туфель на низком каблуке. И круглая агатовая брошь.

Ерунда какая-то...

Елена сняла макияж и быстро переделалась. Прикосновение этих тканей к телу было неприятно. А вот Дмитрия результат удовлетворил. Осмотрев Елену со всех сторон, он поправил складки на юбке и сказал:

– Очень хорошо.

– Я похожа на...

– На себя. Стань сюда.

Бутафорская лесенка с колонной и пластиковым плющом. Ложь, как и все вокруг.

– Руку положи на колонну. Смотри прямо. Не улыбайся.

Он отбежал, скрывшись за объективом массивной камеры. Раздался сухой стрекот, словно Елену не снимали, а расстреливали.

– Ты не годишься для современных костюмов... – Дмитрий шел полукругом. – Розу можно поставить в пластиковую бутылку, но лучше выбрать вазу...

Валик никогда не говорил подобного. Никто не говорил подобного.

– Голову чуть влево. Не улыбайся. Ты когда-нибудь видела старые фотографии? По-настоящему старые? Там люди не улыбались. Знаешь почему?

– Нет.

– Потому, что процесс длился долго. Ничего современного, когда щелк-щелк – и готово. Фотомусор заполонил мир. Стой прямо. Плечи расправь. Умница. Мы выходим на улицу и делаем снимок. Мы встречаемся с друзьями и делаем два десятка снимков. Мы фиксируем свою жизнь в тысячах вариантов, а потом вываливаем эти варианты в Сеть. Безумие.

Его легко было слушать. И работать тоже. Елена чувствовала на себе взгляд камеры и понимала, как сделать так, чтобы этой камере понравиться.

– В этой свалке умирают по-настоящему хорошие вещи. Их просто не видят. Взгляды привыкли к цветным пятнам. К псевдоэротичным позерствам малолеток. К надутым губкам и подретушированным лицам. И потому не ловят разницы между ними. Сложи руки.

Дмитрий показал, как именно, и Елена повторила жест.

Он и вправду хороший специалист. Но почему тогда Мымра прячет его? Почему не вышвырнет Валика с его вечными претензиями и завышенной самооценкой?

– Демократизация искусства... нелепое понятие. Переодевайся.

Второй комплект: платье из мягкой струящейся ткани. К нему – сетка для волос с крохотными камушками и длинными перьями.

– Ты прекрасна, – Дмитрий сменил мизансцену. Исчезла лесенка с колонной, но появилась прелестная козетка. – Садись... расслабься.

Он усаживал ее, словно Елена была куклой. И в прикосновениях его не было ничего личного. А когда Валик решался тронуть, Елену передергивало от отвращения.

– Евгения Марковна, она тебе кто?

Пальцы скользнули по щиколотке, приподняв ткань. Вторая рука накрыла ладонь Елены, положила на складку, и Дмитрий велел:

– Держи.

И на вопрос ответить удосужился:

– Родственница.

– Ты мог бы работать на нее.

– Мог бы.

– Но не работаешь?

Повернул голову, заставив смотреть на белую стену. Исправил свет. Кожа горела под софитами, но этот жар не причинял неудобств.

– Не работаю.

– Почему?

Защелкала камера, и тень Дмитрия поползла по стене.

– Потому что не хочу. Плодить мусор? Какой в этом смысл.

– Но со мной ты работаешь.

– Ты мне понравилась. В тебе есть лицо. Но тебя неправильно снимали. Я же не люблю, когда уходят красивые вещи.

А ведь он прав – цифровой мусор заполонил вселенную, равно как мусор человеческий – подиумы. Люди перестали отличать лица от Лиц. Но Елена исправит положение. Постарается.

Съемка длилась еще долго. Елена устала, но усталость эта была приятной. Впервые, пожалуй, работа приносила удовлетворение.

– Ну что? – Дмитрий вдруг отложил камеру. – Давай по чаю, и последний заход. А потом я тебя отпущу.

– По чаю.

Странно, что пару часов тому назад Елена боялась этого человека. Маньяк... скорее одержимый работой. Если кого и любит, то камеру. И Елену тоже в тот миг, когда она стоит под прицелом объектива.

– Искусство фотографии не в том, чтобы нажать на кнопку, а в том, чтобы увидеть. – Усадив Елену на низкий пуфик, Дмитрий подал чай. Зеленый. Без сахара, но с приятными нотами мяты и шалфея. – Камера – это те же глаза, но она позволяет показать другим людям то, что вижу я. Понимаешь?

Елена кивнула.

Будь у нее камера, она показала бы Дмитрию, каким видит его. Сидящим вполоборота, немного нелепым в этом своем халате, накинута поверх джинсов и рубашки. Не то плащ, не то бурка с атласными отворотами. На ногах его – домашние тапочки. Руки сложены, обнимают пузатую кружку в красный горох.

– Ты умеешь видеть правильно? – спросила Елена.

– Нет. Я умею видеть так, как не умеют видеть другие люди. А правильного взгляда не существует вовсе... – Он отхлебывал громко, с причмокиваниями и наклонялся к самой чашке. – Ты знаешь, что раньше люди боялись фотографироваться?

– Дикари?

Наверное, ему очень одиноко, если он так охотно беседует с Еленой.

– Не только дикари. Хотя они, конечно, тоже. Просто это было очень странно. Вот представь, ты живешь в медленном мире. И вдруг мир этот начинает меняться. Появляются поезда. Электричество. Автомобили. Фотография. Нет нужды трястись в карете – в купе быстрее и удобнее. Не приходится сутками ждать ответного письма – есть телеграммы, а потом на сцене появляется Белл и создает чудесный аппарат. И вот уже ты слышишь голос того, кого нет рядом. Чудо?

Он рассказывал об этом с тихой страстью, и Елена проникалась. Вспомнились вдруг бабушкины сказки: она читала их свистящим шепотом, отчего становилось и жутко, и интересно.

– И среди этих новинок чудесное искусство фотографии. Зачем нанимать художника? Зачем позировать часами, а после, взглянув на портрет, удивляться несхожести. У художников ведь тоже свой взгляд на мир... Фотография объективна. И странна. На тебя направляют аппарат, а после выдают пластину, говоря, что рисовал на ней свет. И ты видишь себя таким, как есть. Это пугает. Людям свойственно бояться своих отражений, как и звука своего голоса. Но в конечном итоге им удалось преодолеть эти страхи. Идем. Уже поздно.

Последнее платье было особенным. Оно легло на Елену, как будто шилось для нее. Струящаяся полупрозрачная ткань и скрывала очертания тела, и подчеркивала их. Платье мерцало тысячей вышитых звезд, каждая – размером с булавочную головку, в которую вдевали бриллиант. Но камни не утяжеляли ткань.

Платье было великолепно. И Елена в нем тоже.

– Садись, – Дмитрий указал на простое кресло, сделанное грубо и даже небрежно. Широкое сиденье возвышалось на толстых и длинных ногах. Подлокотники были выполнены из нешлифованной доски, а спинка зияла проломами.

Кресло стояло в углу. Белые стены держали белый потолок. И белоснежный пол завершал совершенство кубической гармонии.

– Садись, – повторил Дмитрий. – И не двигайся. Смотри сюда.

Он сменил камеру на чудовищного вида агрегат. Черные растопыренные лапы упирались в пол, удерживая на весу массивный короб. С одной стороны его спускался черный тканевый плащ, с другой – виднелся короткий отросток.

– Она старше тебя и меня, вместе взятых. – Дмитрий приподнял ткань. Жест этот был неожиданно неприятен, как будто он под юбку заглянул.

Кому? Камере? Елена попыталась улыбнуться, но не выходило. Чудовище из прошлого разглядывало ее. Не Дмитрий – камера. Древняя. Вытащенная из небытия. Вынесенная в новый мир, где подобным реликтам не место.

– Умница. Смотри в нее. Так смотри, как ты сейчас смотришь.

Со страхом?

Время тянулось долго, но наконец Дмитрий сказал:

– Все. Переодевайся. Тебе пора.

Елена не сразу сумела сделать шаг: ноги дрожали.

Но вот платье упало на пол, и Елена переступила через него. Надела свое, ставшее за время сессии чужим и неприятным. Кое-как убрала волосы в хвост. Обулась. Вышла, покачиваясь на каблуках.

Дмитрий ждал.

А если не отпустит? Если он все-таки маньяк и, исполнив ритуал, завершит его убийством? Страх и смех клокотали в горле Елены.

– Я тебя провожу, – сказал Дмитрий. – Я уже вызвал такси.

– С-спасибо.

Его рука – как спасательный круг, в который стоит вцепиться, если ты хочешь, чтобы мир прекратил кружение. И Елена вцепилась, а мир прекратил.

Дмитрий вывел ее за дверь, помог снять бахилы с туфель и почти вынес во двор.

– Устала? – спросил он, усадив Елену на лавку. – Это бывает, когда отдаешь не изображение, а саму себя. А если так, то получится достойный тебя результат. Я постараюсь.

– Спасибо, – прошептала Елена. И, уже сев в такси, пожалела, что не спросила про телефон. Ей бы хотелось вновь увидеть Дмитрия.

Он ждал Дашку на скамейке. Забрался с ногами, сел на спинку и сунул руки под мышки. Так и сидел – чучело в кожаном наряде. Куртка не по размеру, сапоги для верховой езды, но круче всего – красная косынка, хвосты которой лежали на плечах.

– Чего надо? – Дашка не собиралась быть любезной.

– Тебя надо, – тон в тон ответил Артем.

– Зачем?

Пожатие плечами – скрипит черная кожа, переливаются на солнышке заклепки. Красота!

– Подумал, что ты не будешь против.

– Ошибся.

Всего-то и делов: пройти мимо и спрятаться за железной дверью подъезда. Мальчишка достаточно гордый, напролом не поперет. Но вот Дашка – ой, дура-дурочка! – стоит и разговоры разговаривает.

– Жвачку хочешь? – Он вытащил из кармана мятую упаковку «Дирола». – Сладенькая. Так кого убили?

– Не твое дело.

– Не мое, – Артем прыгнул со скамейки и потянулся. – Я уж думал, что ты домой не заглянешь. Сижу, жду, а тебя все нету и нету.

– Еще добавь, что скучал.

– Завтра начнется травля. Твоя, – он ткнул пальцем в Дашкин нос. – Я не знаю, кому ты оттоптала мозоли, но поступило указание утопить тебя в дерьме. Точнее, сначала твою контору, потом тебя. Я согласился.

– Кто ты?

Артем изобразил шутовской поклон:

– Специальный корреспондент ежедневной газеты «Сплетница». Слышала про такую?

Ударить бы его. Дать хлесткую пощечину за унижения бывшие и будущие. Ну почему у Дашки все шиворот-навыворот в жизни? И даже случайный знакомый явился не из-за вспыхнувшей внезапно любви, горячей, аки ядро планеты, а по рабочей необходимости.

Любопытно, про вчерашний вечер он тоже репортажик наклепает? Так сказать, интервью в постели?

– Да ладно, Дашунь...

– Руки убери!

Она хотела оттолкнуть его, наглого и отвратительного, но Артем вцепился в запястья и с неожиданной силой встряхнул.

– Послушай. Вчера мне было глубоко насрать, кто ты такая и чем шефу не угодила. Мне говорят, я делаю.

– А сегодня, значит, не по фиг? Проникся глубоким и искренним чувством?

– И сегодня по фиг. На тебя. Это для пущей ясности между нами. Но вот убийство... убийство – дело другое. Я, конечно, могу выполнить работу так, как от меня ждут. Паратройка статей. О «Хароне» – конторе престраннейшей даже для похоронного бюро. О директоре ее, который ненормален, и справочка имеется. О Дарье Беловой, бывшем следователе прокуратуры, а ныне – богатой и беспечной дамочке... о Яне Тыниной и ее престранной смерти, принесшей тебе и твоему дружку состояние.

– Ты не посмеешь!

Посмеет. У него уже и заготовочки имеются. Профессиональные. Аккуратные. Такие, где нет прямых обвинений, но косвенные проскальзывают за каждой строкой. Читайте, господа, и сами делайте выводы.

– Материал богатый, – Артем разжал руки и оттолкнул Дашку. – Но, видишь ли, мне до чертиков надоело чернуху гнать. Все эти городские сказки уже комом в горле.

– Чего ты хочешь?

– Нормальную историю. Таковую, чтобы сенсация и чтобы имя под ней поставить не стыдно было.

Не врет. Уже хорошо.

– Журналистское расследование и право на эксклюзив.

– А взамен?

– Моя помощь и благорасположение. Поверь, это не так и мало.

– Сволочь ты.

– Неа, – Артем широко улыбнулся: – Я трус и неудачник.

Номер третий настигла Адама у пруда, представлявшего собой траншею, выложенную плиткой. Со дна траншеи поднимались жесткие листья кувшинок. На воде плавала зеленая пленка ряски, на которую то и дело садились стрекозы. Адам наблюдал за стрекозами и за суетливыми мальками. Последних, вероятно, запускали каждый год, но в каменной жерловине рыбы не приживались.

Номер третий появилась со стороны административного комплекса и, миновав молчаливого стража-санитара, двинулась к Адаму. Шла она семенящим гусиным шагом, переваливаясь с ноги на ногу.

– Я была к вам несправедлива. – Номер третий остановилась по другую сторону пруда. – И я хотела бы извиниться.

– Извинения приняты.

Адам надеялся, что номер третий уйдет, но женщина обошла пруд по краю и села на лавку.

– Вы попали сюда потому, что вас потревожило прошлое. И меня потревожило прошлое. После нашего разговора я много думала... И знаете, к какому выводу пришла? Все дело в фотографии. А раньше он не любил фотографировать.

– Уходите, – Адам повернулся спиной.

– Я жила на помойке. Давным-давно, в далеком-далеком городе жила-была девочка.

– Что вам от меня надо?

– Она жила не в замке, и не в крепости, и даже не в пряничном домике. Ее избушка была стара. Бревна рассохлись, и в стенах зияли дыры. Девочка затыкала их тряпками и прикрывала сверху листами картона. А тряпки и картон она брала прямо за домом, ведь там начиналась помойка.

...Тоня помнила яркие краски. Синий. Зеленый. Красный. Желтый. Безумный калейдоскоп тысячи и одной вещи. В Тонином представлении тысяча была тем самым числом, которое описывало бесконечность окружающего мира. Оно вмещало и мусорные горы, и долины, и каньон, на дне которого нес воды грязноватый ручей. К ручью приходили бродячие кошки, лисы и люди, которых Тоне следовало сторониться. Иногда, когда папаша записывал, она, спрятавшись в гряде мусора, наблюдала за творящимся в каньоне, не делая различий между разумными и неразумными обитателями свалки.

Место не казалось ей ни страшным, ни уродливым. Напротив, здесь у Тони имелась свобода, которой пришлось пожертвовать. И ведь никто ее не спросил, желает ли она жертвовать этой свободой. Впрочем, тогда Тоня не особо задумывалась над понятиями столь глобальными.

В тот день она сидела в старом холодильнике. Стенки его проржавели, и Тоня расковыривала рыжие пласти, снимая ржавчину кусками, как снимала собственную обгоревшую на солнце кожу.

Людей она увидела издали. Те подъехали со стороны леса, остановили грузовик на краю свалки, выгрузились и растянулись редкой цепью. В руках их были палки, которыми люди разгребали мусор.

Тоня вылезла из холодильника, раздумывая, стоит ли предупредить папочку. И как выяснилось, думала она слишком медленно: Тоню заметили.

Нет, конечно, она могла бы попытаться убежать или закопаться в мусор, Тоня знала несколько надежных местечек, но отчего-то замешкалась и позволила чужакам окружить себя.

– Что здесь делает ребенок? – спросил человек с гладким лицом.

У всех на свалке были бороды: короткие, длинные, клочковатые или спутанные, как старая паутина, а этот человек стоял и тер гладкую-гладкую щеку.

И другие тоже стояли, но неподвижно.

– Я дядя Леша. А тебя как зовут? – Человек сунул руку в карман и вытащил что-то. – Хочешь конфетку?

– Тоня, – сказала Тоня. – Я здесь живу.

– Давно?

– Всегда, – уверенно ответила Тоня и взяла-таки с ладони кругляш в бумажной обертке.

– Скажи, Тоня, – человек присел на корточки, сделавшись почти одного с ней роста, – а ты случайно не видела, чтобы сюда приезжала машина?

– Какая?

– А какие приезжали?

И Тоня принялась перечислять. Ей очень хотелось сделать приятное человеку, который взялся с ней говорить и который слушал внимательно-внимательно. И вопросы задавал, хотя, конечно, вопросы были преглупыми. Конечно, Тоня не путает. Как можно перепутать? Она

знает все. Черный грузовик, что врывается с ревом и скрипом, оставляя глубокие рытвины. Он сбрасывает содержимое где попало, мешая старые кучи с новыми. Новенький мусоровоз с буквами на борту подбирается к свалке осторожно и вглубь никогда не лезет... да, Тоня знала каждого – или почти каждого? – обитателя этого мира. А кого не знала, того запоминала, движимая любопытством.

– И ты покажешь, где он остановился? – Мужчина протянул руку.

Тоня кивнула. Она с радостью препроводила новых знакомых к горе, к которой три дня тому назад надолго прикипела чудесная блестящая машина. И люди окружили гору, разбирая по частям. Они работали быстро, вытаскивая острыми пиками бумагу и тряпье, раскапывая язвины гнилой картошки и битого стекла.

– Есть! – закричал кто-то, и Тоня, сидевшая – не гнали, и хорошо – на старом колесе, побежала смотреть.

Люди окружили нечто, весьма похожее на толстого червяка. Они говорили, махали руками и кричали, а потом расступились и потянули за край свертка. Сверток развернулся. Внутри лежал мертвяк.

Тоне случалось видеть мертвяков, поэтому она ничуть не испугалась. Только удивилась немного: уж больно мелким он был, почти таким же мелким, как и сама Тоня.

– Потом я узнала, что это не он, а она. Девочка. Восемь лет. Антонина Малышевская, – монотонный голос номера третьего продолжал рассказ. Женщину совершенно не заботило, слушает ли Адам. – Совпадение, предопределившее судьбу. Меня забрали вместе с телом.

...Ехали долго. В грузовике было душно, как в картонной коробке. Коробку трясло. Люди подпрыгивали, ящики, полные всякого мусора, тоже подпрыгивали и дребезжали. В конце концов машина остановилась, и Тоню вытряхнули в новый мир, сперва ослепивший своим великолепием.

Тоня онемела от восторга, глядя на огромное белоснежное здание, на цветы, деревья и белую спицу, на вершине которой развевалась алая тряпка.

Дядя Леша взял Тоню за руку и повел прямо в дом.

– Теперь ты будешь жить там, – сказал он. – Тебе понравится.

Дядя Леша ошибся: новый дом разочаровал Тоню. В пустых гулких коридорах его было слишком много людей. Они сбивались стаями и охотились на себе подобных, отбирая еду и вещи. А когда не получалось отобрать, то просто делали больно.

– Дура! Дура! – визжала рыжая девчонка и плевалась слюной. – Имбецилка!

Тоня едва сдерживалась, чтобы не закричать в ответ. Тоне хотелось войти в стаю и самой охотиться.

Однажды она не выдержала и толкнула девчонку. Та упала неудачно. Хрустнула кость. Плеснуло кровью. Раздались визги, а прибежавшая воспитательница стала причитать. Тоню заперли.

Дома ее никогда не запирали...

– Я сбегала. Дважды. Но оказалось, что я не приспособлена к городу. Я пугалась, теряла ориентацию и возвращалась к детдому. А потом снова появились дядя Леша и с ним двое. Совпадение сыграло роль. Я же говорила, что ту девочку звали Антониной? Вот они и решили, что это – знак. Нет, они понимали, что я – другая, но продолжали надеяться. Ты же надеешься встретиться со своей женой?

– Она мертва, – ответил Адам, хотя его ответ был не нужен.

– И они надеялись. Я помню, как та женщина вглядывалась в мое лицо. Взяла вот так, – номер третий потянулась было к Адаму, но он отшатнулся, избегая прикосновения.

– Она положила ладони на виски, задрала голову и смотрела-смотрела...

– ...Ты совсем на нее не похожа. Мне так жаль, что ты на нее не похожа. – Женщина отпустила Тоню, развернулась и пошла по пустому коридору. Из приоткрытых дверей выглядывали люди. Все – и даже рыжая со сломанной рукой – смотрели на женщину.

– Ты как? – спросил дядя Леша и протянул бумажный кулек. – Держи вот. Сладенькое.

– Спасибо. – Кулек оказался тяжелым, и Тоня подумала, что не успеет съесть все конфеты. И даже половину не успеет.

Рыжая уже погрозила кулаком.

– У этих людей случилось горе. – Дядя Леша не торопился уходить. Он взял Тоню за руку и повел по коридору. – У них убили дочь.

– На свалке?

– На свалке. И сейчас им очень одиноко. Я рассказал про тебя, и Анастасия Павловна подумала, что вы могли бы подружиться.

– Нет, – ответила Тоня.

– Почему?

– Потому что я совсем на нее не похожа.

Дядя Леша ушел. Это было почти так же огорчительно, как и отданные стае конфеты. Хотя часть Тоня успела спрятать.

Не прошло и пары дней, как женщина вернулась. Она привезла одежду и заставила Тоню сменить серое платье на белую блузку. К блузке полагались юбка из колючего материала и нарядные туфельки.

– У тебя нет вшей? – спросила женщина, прежде чем взяться за расческу. – Садись. Я заплету тебе косу.

Кос получилось две. Женщина уложила их вокруг головы и закрепила черными невидимками.

– Так лучше, – она повернула Тоню к зеркалу. – Ты можешь звать меня Анастасией.

Она оставила коробку яблочного мармелада и книгу с картинками. После ухода Анастасии Тоню нашла рыжая и, держась в отдалении, крикнула:

– Она тебя все равно не возьмет! Ты ей не нравишься!

– Не нравлюсь, – Тоня протянула мармелад. – Возьми.

– Подлизываешься?

– Я не хочу, чтобы она меня забрала, – Тоня поняла, что говорит правду. – Пусть лучше она заберет тебя.

И, подумав, добавила:

– Ты красивая.

Однако Анастасия не замечала красоты рыжей. И Тоню она видела сквозь туман собственного воображения. Правда, к таким выводам Тоня пришла много позже, а тогда лишь терпеливо сносила еженедельные визиты. Анастасия долго расчесывала волосы девочки, заплетая их так туго, что у Тони моментально начинала болеть голова. Приютская форма уступала место белым блузкам и черным юбкам. Ноги, оказавшись в тисках туфель, моментально распухали.

– Ты неуклюжа, – раз за разом повторяла Анастасия. – Ты неумна. Ты ленива.

Тоня утыкалась в тетрадку, исписанную корявым почерком.

– Анастасия Павловна тебе добра желает, – шептала пышнотелая воспитательница и гладила Тоню по голове. От воспитательницы исходил запах хозяйственного мыла и соды, а рука ее была жесткой. Но рядом с ней Тоня чувствовала себя спокойно.

– Учись, деточка. Учись.

– Учиться я начала много позже нормальных детей. Я не ходила ни в сад, ни в школу. Более того, с точки зрения обычного человека, я была этаким Маугли. Дитя помойки.

Номер третий подняла руки и уставилась в раскрытые ладони. Адам счел нужным заметить:

– Данный рассказ представляет интерес для Всеславы, не для меня.

– А ты помнишь свое детство?

– Да.

– Ты был счастлив?

– Счастье – понятие субъективное. Объективных причин жаловаться у меня нет.

– Значит, не был, – номер третий сделала собственный вывод.

Но Адам не врал. Объективных причин не быть счастливым у него не имелось.

– Анастасия учила меня. Сначала элементарные вещи. Круг. Квадрат. Треугольник. Красный. Синий. Желтый. Дни недели... слова без смысла. Как заноза, – номер третий коснулась лба. – Но я старалась изо всех сил. А рыжая мне помогала. Мы подружались. А потом меня забрали.

Очередной визит. Белые банты. Белая блуза. Белые туфельки. И белый плащ с квадратными пуговицами. Точь-в-точь как у Анастасии.

– Теперь мы похожи, – сказала она, завязывая пояс. – И ты можешь называть меня матерью.

Голос дрогнул.

Попрощаться Тоне не позволили. И уже в машине она не выдержала, прилипла к стеклу, глядя, как проплывает мимо громадина дома.

– У тебя начнется иная жизнь, – Анастасия сидела, прямая, как кукла. – Постарайся меня не подвести.

– Да... мама.

И Тоня старалась.

Правильно ходить. Правильно сидеть. Правильно разговаривать. Ее уроки начинались с минуты пробуждения – в шесть тридцать ровно – и заканчивались уже в постели – в одиннадцать тридцать ровно. Но даже во сне Тоня повторяла пройденное за день.

Шло время.

Была школа, кружок балльных танцев. Неудачная попытка поступления в музыкальную школу – увы, руки у девочки чересчур грубы, чтобы освоить пианино, – и частные уроки.

Ноты – гаммы – круговорот па. Выступления. Грамоты. Скупая похвала Анастасии и безразличие ее мужа Семена. Безвременье дома.

– Там все оставалось так, как было при жизни Тони. Правильной Тони, той, которую они попытались заменить мною. Я думаю, что взяли они меня лишь потому, что в их мире положено было быть девочке по имени Антонина. А кушетке положено было стоять в коридоре в двух сантиметрах от стены. Фарфоровым кошкам – на полке, выстроившись по ранжиру. Нельзя переставлять вещи или приносить новые.

– Стремление к порядку часто трактуется как попытка контроля над жизнью, – ответил Адам.

Если не получается избавиться от назойливой собеседницы, то следует воспользоваться беседой.

– Мне удобно в контролируемом пространстве, и я негативно отношусь к нарушению данного пространства.

– Тебе бы понравилось у Анастасии. Никаких нарушений. У Семена в шкафу двадцать одинаковых костюмов и двадцать же галстуков к ним. Анастасия следила за модой, но лишь

когда выходила из квартиры. А для дома – серое платье из английской шерсти. Ткань хранили на антресолях, переложив веточками лаванды. Огромный такой сверток.

Номер третий развела руками, демонстрируя не то длину, не то диаметр свертка.

– Раз в год от свертка отрезали несколько кусков. Возвращались они платьями, а с ними появлялись белые блузки и черные юбки. Шерстяные колготы. И туфли – белые, выходные, и черные, на каждый день.

...Мать Адама никогда не умела выбирать одежду. Хватала то, на что «глаз ложился». Она так и говорила, вытаскивая из сумки мятый ком: «Глаз лег». И добавляла непременно: «Какая прелесть». Прелесть редко подходила по размеру.

– Мое взросление воспринималось снисходительно. Они желали бы оставить меня восьмилетней, но осознавали невозможность этого. Пожалуй, их нельзя назвать сумасшедшими. Соседи выражались мягко – «со странностями».

И про Адама такое говорили. Парадоксальная ситуация: признавая его аналитические способности, окружающие все же недооценивали адекватность восприятия Адамом ситуации.

Вспомнились регулярные ежемесячные визиты классной руководительницы – дамы средних лет. Ее встречали, сопровождали в зал и поили чаем. К чаю прилагались конфеты «Птичье молоко» и разговоры. А поскольку стены в квартире были тонкими, а двери – еще тоньше, то Адам слышал почти все.

– ...мальчик талантливый, но со странностями. Учится неровно. – И классная руководительница приступала к доказательству теоремы. В ход шли списки Адамовых проступков и Адамовых оценок.

До шестого класса чаши весов пребывали в равновесии.

– И что случилось потом? – В глазах номера третьего пылал интерес.

Адам все это произнес вслух? Вновь утратил над собой контроль? Но это не повод делиться воспоминаниями с незнакомым человеком.

– Потом я оказался заперт на чердаке. Просидел сутки.

– Испугался?

– Нет.

Страшно было до этого момента, когда стая одноклассников сомкнула строй, отрезая путь к бегству, и когда вожак шагнул навстречу с вопросом:

– Ты че, самый умный?

Страх перерос в панический ужас. Не перед болью, а перед прикосновением. Адам смотрел на руки условного противника, видя пыль, грязь, забившуюся под ногти, и пятно шелушащейся кожи. При мысли, что это коснется его, Адам впадал в оцепенение.

Очнулся уже на чердаке.

Курлыкали потревоженные голуби. Воняло дохлятиной. Из окна виднелись крыши и кусок двора.

– Что ты делал? – спросила номер третий.

– Ничего.

Сел у окна и принялся ждать. Ожидание затянулось. Солнце погасло. Появились звезды. И сонное бормотание голубей убаюкало. Адам заснул, несмотря на жажду и голод, и во сне опять столкнулся с одноклассниками. Они снова и снова окружали Адама, отрезая пути к отступлению, и тянули руки, пытаясь коснуться.

– Кто тебя нашел?

– Милиция. Родители подали заявление. Участковый стал допрашивать одноклассников. Некоторые не выдержали. Был скандал. Меня перевели на домашнее обучение. Этот вариант был более приемлем, чем предыдущий.

– Значит, школу ты бросил?

– Экзамены я сдал.

– И я сдала. Экстерном. Чтобы сделать Анастасии приятное. А еще я надеялась, что она меня отпустит. Что все изменится. Не изменилось. Та же квартира. Те же люди. Поступление. Филологический факультет... идея Анастасии, конечно. Потом я училась. Днем – там, вечером – дома. Жизнь по плану. Но на четвертом курсе я встретила Кешу. И знаете, он не любил фотографировать.

Интерлюдия 1. Картины, созданные светом

Драгоценная моя Эвелина!

Я так долго не писал тебе, что, верно, ты или позабыла, или прокляла меня. И если даже ты отправишь это письмо в огонь не читая, то будешь права. Я не заслужил твоей любви и никогда, хоть бы до самого конца мира, не вымолю твоего прощения.

Однако дерзость, всегда отличавшая меня – ты сама не единожды укоряла за неподобающее поведение и горячий нрав, – станет моим спасением.

Я ничего не знаю о тебе теперешней, но в сердце моем жив образ прежней Эвелины: кроткой, нежной, всепрощающей. Я слышу ее тихий голос, который для меня – музыка, лучше оперной. Я вижу ее взгляд, преисполненный милосердия. И нос мой обоняет запах настурций, диких роз и свежей земли. Моя Эвелина любила сады...

Какова ты теперь? Отчего-то мне кажется, что если ты, драгоценный камень моей измученной души, и изменилась, то не сильно. Разве возможно представить в тебе иную женщину? Чопорную, или, там, сварливую, либо же холодную, как серый гранит родового склепа... помнится, меня всегда пугала твоя матушка, но в тот единственный раз, когда я осмелился сказать тебе об этом страхе, мы поссорились. Ты укоряла меня за жестокосердие и называла злым насмешником, я же, растерянный, силился понять, чем женщина эта, единственным достоинством которой было то, что она подарила жизнь моей Эвелине, заслужила столь горячую любовь?

О, сколь ярки воспоминания! Они – картины, написанные однажды на холсте моего разума. И я, скупец, храню их, чтобы время от времени любоваться.

У меня нет будущего с моей Эвелиной, но есть прошлое, которое и дает мне право обратиться к тебе сейчас. Я пишу это письмо исключительно с тем, что желаю сказать – наша жертва была не напрасной.

Ты, мой ангел, провожала меня в тот злосчастный день, когда я, рассорившись с отцом и братьями, принял решение покинуть дом. Ты обещала ждать, хотя оба мы понимали, сколь многого потребует исполнение сего обещания. Тебя я видел, глядя в окно почтового дилижанса. С тобой говорил в пустоте моих комнат. К тебе взывал в минуты тоски и отчаяния...

Не буду спорить, милая Эвелина, что не раз и не два одолевали меня сомнения в правильности выбранного пути. Однажды, когда очередная неудача постигла меня, лишив всякой надежды, я собрал скромные пожитки и спешно покинул квартиру. Я бежал к вокзалу, как дитя бежит на зов матери, и сердце рвалось из груди навстречу тебе.

Но вдруг предстала предо мной удивительнейшая картина: луч света, падающий на стену. И столь ярко обрисовывал он каждый камень безымянного дома, придавая тому удивительную величавость, что душа моя затрепетала. Я оглянулся. Я увидел людей во всем их многообразии: старых и юных, уродливых до отвращения и столь прекрасных, что я не нахожу слов, подходящих для описания. Я увидел собак и девочек, продающих зелень. Увидел цветочницу, которая была пьяна и прятала бутылку среди букетов фиалок... мост и полисмена. Лошадь с продавленной спиной и даму в изысканном наряде...

Именно в этот миг я осознал все многообразие и величие мира, а заодно уж понял, что никогда, хоть бы целыми днями и ночами я не отходил от станка, не запечатлеть мне всего.

Тем паче что рисованные мною картины не сыскали ничего, кроме презрения.

Я бесталанен, милая моя Эвелина, и пусть сейчас ты станешь отрицать очевидное, но это именно так, а никак иначе. И вот стоял я посреди улицы, сущее ничтожество, которому даровано видеть прекрасное, но не дано донести виденное до людей, и думал... мысли были смутны.

Вернись я домой, преклони колени пред отцом, как подобает хорошему сыну, он бы простил меня. Я зажил бы, как положено было бы жить джентльмену хорошего происхождения и воспитания. Я сделал бы тебе предложение и смею надеяться, что не получил бы отказа. Наша дальнейшая жизнь потекла бы мирно. Но разве оставила бы меня мука душевная? Покинули бы терзания, обуявшие разум мой с той поры, когда осознал я себя тем, кем являюсь: твоим упрямым Джорджем.

Именно упрямство, а еще любовь к тебе, которая безгранична, как безграничен Мировой океан, сподвигли меня вернуться в квартиру. Я собрал все холсты и, вынеся на задний двор, сжег их. В костер отправились кисти и краски. И, глотая горький дым, я глядел, как в клубах тумана появляются и исчезают удивительнейшие картины. Я думал о том, что если бы существовал способ поймать их, запечатлеть, вырвать это мгновение из череды мгновений иных, разве ж не стало бы это величайшим открытием из всех?

Ту ночь я провел без сна. И настойка лауданума, которая не единожды спасала меня от бессонницы, на сей раз оказалась бессильна. Вереницы мыслей, подобно сказочным караванам, брели через пустыню разума моего.

Ты, верно, боишься, моя Эвелина, спрашиваешь себя, уж не обезумел ли он, не уподобился ли тем несчастным, которые опий не только пьют во успокоение боли, но и курят, превращаясь в существ беспомощных и лишь издали подобных людям. Нет, мой светлый ангел, я спешу уверить, что ныне здоров и телом, и духом, а опий потребляю исключительно для успокоения боли в ноге, каковая, как ты знаешь сама, является следствием давней травмы. И хочу сказать, что здесь к лаудануму и опию относятся с куда меньшей предубежденностью, признав многочисленные лекарственные его свойства. Местные аптекари и врачи, куда более просвещенные, нежели наш старый Сайрус, смело рекомендуют его даже детям. А я уже давно не дитя.

Но я отвлекся. Прости. Столько всего мне хочется рассказать, ведь это первое письмо, на которое я решился, потому как могу написать не только о

неудачах, но и о немалом моем успехе. Наше открытие – и сомнений в том нет – перевернет весь мир!

Сегодня нам – мне, мистери Луи Дагери и его другу, а заодно и сопернику мистери Нисефору Ньепсу – удалось получить стойкое изображение на серебряной пластине. Я держал в руках картину, написанную без красок, кистей, карандашей или угля, а с помощью одного лишь света. А значит, мы на верном пути.

И этот день станет началом нового великого искусства – светописа.

Я пока не могу раскрыть тебе детали процесса, поскольку мистер Ньепс настаивает на сохранении тайны и даже в письмах использует специальный шифр, опасаясь, что изобретение наше будет украдено. А надо сказать, что мистер Ньепс отличается упрямством, да и характер его весьма суров, что, на мой взгляд, есть прямое следствие его происхождения. Он истинный баварец, тогда как мистер Дагер – явный француз, вспыльчивый, неспособный сколь бы то ни было долго усидеть на месте и при всем том обладающий острым умом и столь же острым языком. Порой его язвительность переходит всякие рамки, и позже он сам, остыв, просит прощения за слова, произнесенные в запале. И если я охотно иду на примирение, понимая, что в сердце Дагера изрядно огня, но вовсе нет злобы, то Ньепс подолгу вынашивает свою обиду, выказывая ее то молчанием, то брюзжанием, а то и вовсе прямыми угрозами бросить все и расторгнуть договор. И тогда мне выпадает обязанность мирить их, что, признаюсь, не легко.

Однако я бесконечно счастлив, имея эту возможность, ведь, кроме того, что почитаю Ньепса и Дагера своими наставниками, я имею честь называть их друзьями. Мы вместе творим будущее. И увидишь, моя маленькая Эвелина, это будущее будет чудесным!

Твой Джордж.

Май 1833 года.

Любезный Джордж,

Ваше письмо весьма обрадовало меня и всю Вашу семью, которая давно не получала никаких известий от Вас и по этому поводу пребывала в глубоком огорчении.

Спешу уверить Вас, что пребываю в добром здравии, равно как и Ваши отец и брат. Мы премного счастливы читать об успехах Вашего предприятия, однако испытываем некоторое беспокойство и потому просим сообщить о том, здоровы ли Вы? Не испытываете ли стеснений телесных либо душевных? По-прежнему ли крепка Ваша вера? И не смущают ли названные Вами господа Ваши дух и разум?

Будьте столь любезны написать о своей нынешней жизни, рассказ о которой, вне всяких сомнений, будет любопытен Вашему семейству.

О себе смею сказать, что, являясь супругой Вашего брата Натаниэля, я с радостью на сердце и гордостью в душе исполнила свой долг перед моим и Вашим отцами.

С превеликим уважением, Эвелина Фицджеральд.

Дорогая Эвелина,

я бесконечно рад был, получив от тебя письмо, но стоило мне прочесть твои скупые строки, как страшное опасение прокралось в мою душу.

Женщина, выписавшая кружевную вязь лиловых чернил по белой бумаге, не могла быть тобой!

Она – знакомые камни серого склепа. Зеленый плющ приличий и эпитафией – чужая фамилия и незнакомая печать.

Вы спрашиваете меня, здоров ли я? Всецело!

Разве что расколотое сердце страдает неистово, и лауданум не в состоянии заглушить эту боль. В тот день, когда я прочел письмо, я выпил целый стакан и, запершись у себя в комнате, предался страданиям. Я вытаскивал картину за картиной из чуланов памяти, отчаянно желая уничтожить каждую из них, но не находил в себе сил.

Моя Эвелина, помнишь тот день, когда ты играла, а я переворачивал страницы нот? Я слушал музыку и видел в ней робкое обещание любви... Свет газового рожка падал на твое лицо и руки, а платье белело в сумерках, точно так же, как белели цветы шиповника. И я принес тебе ветку.

– Вы поранились, – сказала ты, глядя на мои руки, но не было упрека в твоих глазах.

– Шипы ранят всегда, – ответил я, – но боли суждено сопровождать красоту.

Ты приняла цветок и спрятала его в своем альбоме.

Сохранился ли он, бедный шиповник?

А помнишь ту игру в крокет, когда я, взглянув на тебя, вдруг терялся и становился до того неловким, что не мог попасть по мячу?

Или ту нашу поездку на ярмарку?

Господь Всеблагий! Да разве та Эвелина, которая хохотала, глядя на ужимки карликов, способна зачерстветь душой?

Я верю, что она жива. И для нее пишу, пусть дело мое и безнадежно.

Вы желаете знать о месте моего нынешнего пребывания, а также о здоровье телесном и душевном? Что ж, вам, миссис Эвелина Фицджеральд, я отвечаю так: в настоящий момент времени пребываю я в местечке Шалон близ Парижа. Тело мое находится в изрядной физической форме, и едино имею жалобы на застарелую травму, что время от времени, особенно в дождливые дни, беспокоит меня. Душа моя, не считая раны столь же застарелой, спокойна. Невысказанные опасения ваши о том, что меня могут принудить к смене веры, не имеют под собой оснований. Все трое мы скорее безбожники, нежели англикане и католики с их вечным друг другом недовольством.

Также вы имели интерес к моей жизни в прошлом и обстоятельствам, приведшим меня в Шалон. И я готов продлить свой рассказ, поскольку по-прежнему пребываю в долгу, но не перед вами, моя незнакомая собеседница, а перед Эвелиной.

С мистером Нисефором Ньепсом я познакомился еще в четырнадцатом году, когда он оказался в крайне затруднительном положении. А надо сказать, что, будучи сам специалистом по гравюре, мистер Ньепс проводил изыскания, силясь усовершенствовать литографический процесс Зенефельдера. Помощь в том ему оказывал сын, каковой, к несчастью, ушел в армию. Именно тогда я предложил мистеру Ньепсу свои услуги рисовальщика, а он, видимо страдая одиночеством, принялся рассказывать мне об экспериментах по созданию гелиографических картин.

Вскоре, однако, нам пришлось расстаться. Виной тому были отчасти моя неусидчивая натура, отчасти – невозможность Ньепса оплачивать мои услуги. В то утро, когда солнечный луч пробудил во мне вдохновение, я вспомнил о тех экспериментах.

Надо ли говорить, что я, бросив все, отправился к мистеру Ньепсу, готовый умолять его принять меня в ученики. Нисефор встретил меня без особой радости, что, однако, было свойственно его натуре. Он лишь сказал, что не имеет возможности платить мне, однако готов предоставить жилье при условии, что я воздержусь от переписки с кем бы то ни было, а если же захочу отписаться домой, то предоставляю письмо для перлюстрации.

– Слишком много мошенников развелось, Жоржи, – добавил он позже. – И всяк норовит поживиться на чужом труде.

Что ж, писать мне было некому, а работа задаром – и вовсе привычное дело для неудачливого художника. Зато я обрел чудеснейшую возможность присутствовать при экспериментах.

Мистер Ньепс действовал так: он брал пластину из стекла или меди и покрывал ее особым составом битума, растворенного в животном масле. Пластина экспонировалась в течение нескольких часов, пока покрытие не затвердевало и не становилось видимым. Тогда ее переносили в особую темную комнату, где окунали в кислоту. То покрытие, которое было защищено от воздействия света во время экспозиции, оставалось мягким и растворялось, а то, на которое свет воздействовал, было твердым. И надо сказать, моя милая Эвелина, что результаты достигались потрясающие! Особенно после того, как пластина попадала в руки Леметра, ее дорабатывавшего. Он гравировал линии, покрывал пластину чернилами, а после печатал необходимое количество литографий.

Признаться, все мысли Ньепса были устремлены лишь на усовершенствование данного процесса, позволявшего получать точные копии чертежей. Иного применения Нисефор не видел, но лишь до знакомства своего с Луи Дагером, которое состоялось заочно в году двадцать шестом. А уже в двадцать девятом эти два господина сошлись вместе и подписали договор о взаимной работе.

Тут надо бы сказать, что изначально отношения сих двух достойнейших людей не несли и тени доверия. Нисефор, истративший на эксперименты с гелиографией все свое состояние, пребывал в крайней нужде, многочисленные неудачи подломили его дух, а столь же многочисленные болезни ослабили тело. Луи Дагер, успешный кавалер, богатейший человек, прославившийся на всю Францию чудом своей диорамы, напротив, был полон энтузиазма. Но его мучил иной страх: Нисефор, многие годы посвятивший себя изучению процесса гелиографии, первым совершит открытие и получит патент, а следовательно, и навсегда впишет имя свое в историю.

О да, мой друг весьма и весьма честолобив, но его пылкость, злость, с которой он обрушивается на препятствия, придавали сил Нисефору.

И надо сказать, что первым предложил объединить усилия именно Дагер, написав письмо с идеей о сотрудничестве, каковое Нисефор отверг с презрением.

– Не хватало, чтобы этот выскочка полез в науку, – сказал он мне, убирая послание в шкатулку для бумаг. Там оно пролежало без малого год. И вот наступил день, когда Нисефор Ньепс, человек преуспевший, сдался.

– Напиши ему, – велел он мне, кидая изрядно запыхавшийся конверт. – Напиши, что я желаю встретиться. Только пусть не треплет об этой встрече своим длинным языком.

Конечно же, я использовал совсем иные слова и обороты, заранее жалея моего наставника, для которого подобный шаг являлся признанием своего бессилия. Он подписал письмо, не читая, и весь тот день бродил по дому. Я и сейчас слышу шаркающие старческие его шаги и хриплый кашель, который к ночи обострился. Его болезнь пробудила к жизни и мою собственную. В тот раз боль была просто-таки невыносима и вынудила меня принять лауданум не по рецепту – растворенный в вине, – а в чистом виде.

Луи Дагер ответил быстро. Он выразил радость по поводу того, что будет удостоен встречи со столь знаменитым исследователем, чем немало польстил раненому самолюбию Нисефора.

– Возможно, – сказал тот, глядя на меня больными блеклыми глазами, – этот человек не такой прохиндей, каким кажется.

Надо сказать, что сама встреча состоялась далеко не сразу. Я еще долго писал письма от имени Нисефора и читал ответные, становясь свидетелем споров, что разгорались на бумаге, но оттого не были менее яростными, чем иные, случившиеся уже наяву.

И вот наступил день, когда Луи Дагер появился в Шалоне. Как только он переступил порог дома, я сразу понял: вот человек, не в привычке которого идти на попятную. И если уж решил он добиться участия в опытах Нисефора, то добьется во что бы то ни стало.

Не буду утомлять тебя пересказом беседы, где оба участника не желали раскрывать друг перед другом то, что знали сами, но, напротив, желали вытянуть из собеседника то, что известно ему. Отчасти этот разговор напомнил мне давний торг между скупой экономкой и не менее скупым мясником... Помнишь, ты еще смеялась, что дай волю мисс Эллингтон, она и сырную плесень хранить станет?

В тот раз Луи Дагер, утомленный и разозленный, но сдерживающий порывы натуры своей – как впоследствии я узнал, далось ему это с величайшим трудом, – покинул наш дом после полуночи, но только затем, чтобы заявиться на следующий день...

Все завершилось так, как я тебе уже говорил: договор был подписан. Нисефор Ньепс получил деньги, которые позволили ему продолжить работу – а в жадности Дагера упрекнуть уж никак нельзя было, – а Дагер – обещания подробнейших отчетов о гелиографии.

– Упертый малый, – сказал Нисефор, когда дом наш обрел прежний покой. И только тогда я увидел, сколь тяжело дался ему торг.

Я налил нам вина и, привычно сдобрив его лауданумом – Нисефор принимал дозу, в пять раз большую, чем моя, но постоянно жаловался на мигренные боли, – ответил:

– Возможно, вместе у вас получится большее.

– Не утешай, Жоржи, я понимаю, что делаю, – отмахнулся человек, которого я уже называл другом. – Главное, у меня есть с чем работать.

Тот вечер был печален, и вместе с тем я чувствовал в нем надежду на нечто большее, чему не знал названия. Но теперь я смело могу сказать, что не ошибался!

Так пусть же эта правота и станет оправданием всех моих ошибок, если подобное возможно.

Навеки твой, Джордж.

Любезный Джордж,

мы получили Ваше письмо и имеем сказать, что непозволительный тон его премного нас опечалил. Мы не знаем, чем заслужили подобные упреки, ведь ни единым словом мы не оскорбили Ваши честь и достоинство. Мы чтим Вашу память и свято верили, что наступит день, когда Вы, отбросив поиски, вернетесь к истинным ценностям – семье.

Вместе с тем та горячность, с которой Вы изволили изъясняться, приводит нас к мысли, что Вы, любезный Джордж, пребываете в состоянии крайнего душевного беспокойства, каковое может пагубно сказаться на здоровье. Мы умоляем Вас больше времени уделять занятиям, способствующим укреплению нервов. В частности, Натаниэль просит передать, что ему весьма помогают прогулки.

Я же смею просить Вас больше внимания уделять рыбной пище, а также творогу, избегая при том красного мяса и острых блюд, способствующих движению жидкостей в теле. Во избежание черной меланхолии, которая слышится мне в строках Вашего письма, доктор Нейтон, врач молодой и весьма прогрессивный, рекомендует применять регулярные кровопускания, сочетая их с длительным отдыхом.

Также нас донельзя огорчил тот факт, что давняя травма до сих пор причиняет Вам мучения. Доктор Нейтон согласен с тем, что опиумная настойка является наилучшим средством для утоления боли, и также рекомендует мазь на бараньем жиру. Ее я Вам и отправляю вместе с письмом.

Что же касается прочего, то наши с Вами общие воспоминания не дают Вам права порочить мою репутацию ныне. Однако я не смею Вас укорять за несдержанность, поскольку по-прежнему вижу в Вас того мечтательного юношу, для которого его мечты были главнее всего прочего, в том числе и невесты.

Нам бы хотелось верить, что однажды этот юноша вернется под родной кров, где ему всегда рады. Мы все, и особенно Ваш отец, если Вы помните, пребывающий в весьма преклонном возрасте, надеемся увидеть воссоединение семьи и будем безмерно рады получить от Вас любое, хоть бы и малое известие.

За сим откланиваюсь.

Ваша Эвелина.

И Ваш племянник Джордж.

Моя драгоценная Эвелина!

Я получил твое письмо и, читая его, поймал себя на том, что вижу не тебя, а твою матушку. Ее строгое лицо с жесткими чертами, ее волосы, зачесанные гладко, будто бы она была гувернанткой. Ее платье и этот воротничок, упирившийся в самый подбородок.

Я помню, как она сидела в гостиной, разложив на столике раковины, которых, как мне казалось тогда, были тысячи и тысячи. Сколь старательно

подбирала она их, связывая воедино. И мне удивительно было видеть, как из этих скорлупок да перьев появляются удивительные по красоте букеты.

Помню, что ты тоже разделяла матушкино увлечение, однако жаловалась, что тебе не хватает усидчивости. Твоя натура требовала движения, ты была морем... а стала пустыней. И теперь у тебя целая вечность, чтобы собрать очередной, совершенный в каждой своей линии, букет.

Счастлива ли ты, моя Эвелина? Ответь.

Скажи «да», и я навеки исчезну из твоей жизни. Не надо лгать, что моему возвращению будут рады. Кто я? Паршивая овца в благопристойном стаде. Моя порывистость, которую ты, да и все мои родственнички, включая отца и хромоногую тетюшку Мардж, приписываете болезни, есть не что иное, как свойство натуры живой. Вы же все – мертвы!

Да, Эвелина. Вы – мертвецы, те, кто заживо заточил себя в склепы благопристойности, лег под саван долга и обязательств, а отходной молитвой твоей стали брачные клятвы.

И если я вернусь, то вы все, объединясь, утянете меня в общую могилу.

Нет. Не желаю и слышать.

У меня племянник? И надо полагать, что назван в честь меня? Что ж, я тронут. Сегодня весь день только и думал, что об этом ребенке. Представлял, будто я – его отец. И знаешь что, Эвелина? Я начал задыхаться. Вся тяжесть долга обрушилась на мои плечи, и была она подобна серому граниту. Я никудышный атлант, если не способен вынести всего-навсего одну глыбину. Но я и не мечтал о небосводе.

Только о тебе... ты не ответила, что стало с тем цветком шиповника, да и с альбомом. Ты собирала в нем чужие стихи, свои же, стесняясь, записывала в отдельную тетрадь и показывала лишь мне.

Для меня же все, чего касалась твоя душа, было великолепным.

Надо же, не помню ни строчки. А ты, Эвелина? В твоём нынешнем мире разве осталось место глупостям вроде стихосложения? Думаю, что нет. Ты расчерчиваешь время, разделяя на дни и часы. Строгое расписание, которому следуют все, от конюшенного мальчишки до моего брата. Кстати, каков он теперь? Мне отчего-то представляется отец, но располневший, пусть и скрывающий эту полноту корсетом. Он не позабыл свою привычку жаловаться по любому наималейшему поводу?

На кого похож племянник? Есть ли в нём хоть что-то от живых людей?

(Дописано позже.)

Вероятно, получив это письмо, ты решишь, что я вовсе обезумел. Но это не безумие – лишь боль и тоска по тому, что я мог иметь, однако потерял навеки. Но я сделал выбор, и его не переменяю.

Надо ли мне было вернуться? Возможно. Что бы изменилось для мира? Ничего. Нисефор и Дагер встретились бы друг с другом, и нужда вынудила бы их начать разговор.

Кто я в их работе? Славный парень, помощник на все руки, но сам по себе... я снова ничтожество, Эвелина. В этом единственная горькая правда, которую ты со свойственной тебе пронизательностью поняла. Я тешился иллюзией о собственной незаменимости, но видит Бог, исчезни я завтра, они не заметят. А если и заметят, то лишь для того, чтобы найти нового безумца на старое место. Того, кто будет тягать склянки с химикалиями, смешивать

растворы, вести учет расходуемому и пополнять запасы, убирать... быть рядом... готовить чай, греть вино...

Разговаривать.

Пожалуй, вот то, единственное, что еще удерживает меня, – наши беседы.

Я приношу вино и сыр, который надо покупать у одного-единственного торговца, потому как, по мнению Нисефора, торговцы другие не умеют делать правильный сыр. Я расставляю тарелки, режу паштет – Дагер большой любитель паштетов и рыбных блюд. Я развожу огонь в камине и подвигаю старое кресло вплотную, так, чтобы жар прогревал распухшие ноги Нисефора. Он поначалу морщится, но, приняв лекарство, отходит. Его лицо оплывает, будто восковая свеча, и только рот сохраняет прежние жесткие очертания.

Нисефор никогда не заговаривает первым. Он ждет, и ожидание никогда не затягивается надолго, ибо терпение не свойственно Дагеру.

– Мы должны попробовать серебро! – Эта фраза предвещает многие споры.

Нисефор реагирует не сразу. Его веки вздрагивают и приподнимаются, словно театральные занавесы, а из груди раздается скрип:

– Мы уже пробовали.

– Мы обязаны попробовать снова!

Дагер не в силах усидеть на месте, он меряет комнату шагами и режет ритм левой рукой. Правую прижимает к боку, словно постоянно испытывает мучительнейшую боль, каковую желает усмирить теплом прикосновения.

– Серебро темнеет, – снова возражает Нисефор.

И тут Дагер вспыхивает. Он останавливается – обычно в углу, в полшаге от древнего буфета, сквозь запыленные стекла которого виден белый фарфор. Дагер взмахивает обеими руками, но правой – криво, нелепо и начинает говорить.

Его речи пылки, но они разбиваются о спокойствие Нисефора подобно тому, как ветер разбивается о скалы.

На следующее утро они вновь ставят опыты с посеребренными пластинами. Изображение выходит четким, но очень быстро темнеет.

Однако, как я тебе уже писал, нам удалось найти способ прервать сей процесс! Говоря по правде, открытие было сделано случайно, но это не умаляет открывшихся перспектив.

Посылаю тебе с письмом гелиографию нашей лаборатории, пусть сей скромный дар искупит мою грубость.

Твой друг Джордж.

Июль 1833 года.

Эвелина, я пишу тебе, потому как пребываю в полнейшей растерянности и страхе. Опасения за собственную жизнь подвигли меня на бегство, которое ныне мною позорным. Я не знаю, как поступить мне далее: скрыться навеки или пойти в полицию? Но поверят ли мне, чужестранцу, англичанину, возводящему клевету на достойного гражданина? И не выйдет ли так, что именно меня обвинят в преступлении?

Нет, побег – вот моя единственная надежда.

Я рассказывал тебе об открытии, сделанном случайно, но не говорил о сути его. Все произошло следующим образом: после очередной съемки пластины, на которых не появилось и следа изображения, были убраны мною в шкаф, где стояли самые разные химикалии. Каково же было наше удивление, когда на следующее утро, открыв шкаф, мы увидели изображение! И не просто гелиографию из тех, что получались по методу Ньепса, а изображение яркое, четкое, словно портрет.

И тогда мы поняли, что дело в каком-то из химических соединений, пары которого и замедлили процесс окисления, осталось лишь проверить каждое из них, выискивая то самое, единственно нужное.

Ньепс и Дагер работали, не отвлекаясь ни на еду, ни на сон, я также все время находился в лаборатории и потому видел все собственными глазами.

Искомый нами элементом, частью философского камня нового искусства оказались пары необыкновеннейшей металлической ртути. Раз за разом Ньепс и Дагер повторяли опыт и получали неизменно великолепный результат. И вот тут, моя Эвелина, случилось то, чего я, признаться, опасался с самого первого дня их совместной работы.

Я не знаю, что послужило поводом для ссоры: мнительность ли Нисефора, обострившаяся до невозможности, вспыльчивость ли Дагера, но буря, разразившаяся в этот злополучный вечер, была отлична от прочих.

Теперь мне кажется, что Дагер изначально спланировал все и потому отослал меня с пустяковейшим поручением. Я же, исполнив его, вернулся слишком уж быстро.

Я услышал эти голоса с улицы. Громыканье и скрип, упреки и оправдания, звон бьющегося стекла и громкий хлопок, будто бы выстрел. Я застыл, не смея приблизиться, и только молился, чтобы они успокоились. Наконец все стало тихо. И я уже собирался войти в дом, как увидел тень, которая выскользнула из-за двери. Оглядевшись, тень торопливо сбежала по ступенькам и скрылась в ночной темноте прежде, чем я успел хоть что-то сказать. Теперь же я счастливо думаю, что это и к лучшему, ибо он, пребывая в состоянии крайнего возбуждения, ни перед чем не остановился бы.

Я вошел в дом, ступая на цыпочках, словно предвидя случившееся.

Мой друг и наставник был мертв. Он лежал в своем кресле, и ноги упирались в каминную решетку, благо огонь давным-давно погас. Тело его склонилось набок так, что рука почти касалась пола. Вторая же возлежала на подлокотнике.

– Нисефор, – позвал я его, не в силах поверить глазам своим.

Ужас обуял мое сердце.

Надо ли говорить, что версия случившегося у меня была лишь одна? Дагер убил коллегу и соперника с тем, чтобы не делить с ним славу и немалый доход, который обещал патент на гелиограф Ньепса. А в договоре, подписанном между Нисефором и Дагером, четко означалось, что открытие, будь оно сделано, сделано было бы Ньепсом при участии Дагера.

Для тебя разница сия кажется несущественной, но именно она – тот волосок, который отделяет славу от безвестия, жизнь от смерти.

И я, понимая, что буду сам обвинен в убийстве, покинул некогда гостеприимный дом. Я бежал, Эвелина, словно вор. Я добрался до Парижа и скрылся в кипящем котле его трущоб. Я влачу жалкое существование среди убийц, белоглазых курильщиков опиума и падших женщин. Я осмеливаюсь

покидать мою нору, каковая грязна и убога, лишь ранним утром, когда это дьявольское место хоть немного, да успокаивается.

А сегодня я видел его, моего врага, убийцу и предателя, того, которого ненавижу. Он стоял и беседовал с двумя девицами, делая вид, будто ему интересны их поистаскавшиеся прелести, но на деле – знаю – он спрашивает обо мне. Он ищет меня, Эвелина, и найдет, потому как даже здесь я чересчур заметен. Тогда участь моя будет решена. Именно это и подтолкнуло меня принять решение.

Я отправлюсь в Америку. И пусть я стану тем, кого презрительно именуют «белая шваль», но след мой затеряется за океаном. Однажды, когда Дагер позабудет о моем существовании и потеряет всякую осторожность, я вернусь.

Не мести я желаю, но едино – справедливости.

И верю, что если существует в этом мире Высшая сила, то желание мое будет исполнено.

Навеки твой Джордж.

22 июля 1833 года.

Часть 2

Светотени

Старый дом глотал дождь сквозь пробойны крыши. Вода собиралась на чердаке и просачивалась в квартиры. На стенах появлялись темные потеки, возобновляя русла пересохших рек. Гудели водосточные трубы. И желтые пенные водопады устремлялись по каменным желобам, заливая и двор, и клумбы.

Наблюдатель смотрел на дождь сквозь толстое стекло. Порой он наклонялся, касаясь холодной поверхности щекой, и тогда по стеклу пятном-амебиной расползлось дыхание. Но вот он сполз с подоконника и, запахнув полы старого халата, забрался на кровать. Человек лежал, пока не уснул, а проснувшись, осознал: дождь закончился. В доме царила дряхлая тишина. Изредка она сдавалась, пропуская скрип половиц или стон камня. Порой разрывалась под бурчанием труб – у дома по-старчески барахлила канализация. Но когда тишина затягивала раны, становилось хорошо.

Человек прошел на кухню – тапочки со стертymi подошвами скользили беззвучно – и поставил чайник. Достал из холодильника фаянсовую тарелку с брикетом масла, круглый кус вареной колбасы и половинку батона.

Батон он нарезал крупными ломтями, а масла сверху клал чуть-чуть, для запаха.

Из комнаты он принес большой черно-белый портрет, который установил на детском стульчике. И сел лицом к портрету.

– Я так по тебе соскучился. – Он тщательно размешал сахар. – Я хочу, чтобы мы снова были вместе. А Женька говорит, что это невозможно.

Бутерброд он начал объедать, откусывая по периметру.

– Женька просто не понимает. Но мы-то знаем, в чем секрет.

Человек вытер губы.

– У меня есть твоя пластина. Я храню ее. Уже недолго. Я нашел то, что нужно.

Дашка слушала дождь. Шелест мешал уснуть и не позволял сосредоточиться. Мысли прямо в голове сырели и покрывались плесенью. И сама Дашка тоже покрывалась плесенью, от макушки до пят и обратно.

Так ей и надо, дурочке стоеросовой, идиотке дипломированной.

Попалась на крючок? Сиди и не дергайся. Хотя, конечно, послать бы к чертям собачьим Артемку с его профессиональным интересом. Что Дашке со статьи? С разговоров? Она толстошкурая и выдержит, а «Харон» все равно закрывать собралась. Остается одно слабое место – Адам.

Там-да-дам.

Он в клинике. Но любопытствующие и до клиники доберутся. Станут выспрашивать, вынюхивать... или прямо обвинят?

Дашка натянула одеяло на голову: она подумает обо всем завтра.

Но сон не шел, дождь усиливался, тоска тоже. И Дашка встала. Она дошла до кухни, вытащила начатую бутылку ликера и, плеснув в стакан, подняла его:

– Ваше здоровье, господа. Чтоб вам всем...

Но уснуть не выйдет. И Дашка нашла себе занятие.

Белый лист на столе. Пара карандашей и старая резинка. Бутылка. Бокал. Память.

Лицо, которое не было живым, но должно было таковым казаться. Если обратиться к Вась-Васе за снимком... Дашка не станет обращаться.

Вторая линия рассекла лицо надвое, третья и четвертая довершили разделение. Лоб высокий. Нос широкий. Толстые губы и мягкий подбородок.

– Точка, точка, запятая, – мурлыкнула Дашка, вырисовывая левый глаз, – вышла рожица кривая.

И правый получился почти симметричным.

А ликер закончился. И дождь тоже. Спать пора? Пора. Теперь она сумеет заснуть.

Утро принесло еще одну порцию стыда и звонок в дверь. На пороге стоял Артем.

– Привет, звезда моя, – он отсалютовал скрученной в трубочку газетой. – Держи. Читай. Наслаждайся. Заодно можешь чаем угостить. Или кофеем. Я не привередливый.

– Обойдешься.

Дашка газету брала с брезгливой настороженностью. Анонс на первой полосе. И статья на разворот.

– Я был предельно объективен! – Голос Артема донесся с кухни. – Так что с тебя читается.

– Леденящие кровь события? – Дашка хмыкнула. – Загадочная смерть в морге? Ты приврал.

– Самую малость. Ты что пить будешь? Чай? Кофе? Коньячок? Смотри, старушка, так и в алкоголики недолго записаться.

Статья была почти нейтральной. Имя Тынина не поминалось. Зато имелась фотография Дашки. Господи, ну и страшна же она! Волосы дыбом, взгляд бешеный, оскал волчий. Когда это Артемка снял? В клубе? У дома? А разницы нет – отвратительно вышло.

– Личность пока не установили, – Артем появился с двумя кружками. – На вот, похлебай горяченького – полегчает.

Горячий чай был в меру крепок и в меру сладок. Следовало бы сказать спасибо, но Дашка сдержалась: обойдется.

– Итак, имеем неизвестного с липовыми документами и странными сексуальными фантазиями.

– Не в сексе дело, – буркнула Дашка.

– Да ну? И почему же?

Насмешка в глазах задела. За кого он Дашку принимает?

За дуру с явной склонностью к алкоголизму.

– Слишком сложно. Сексом он и внизу мог бы заняться. Но он потащил тело вверх. И заметь, на руках нес. Мог споткнуться, уронить, разрушить собственную работу. Для чего?

– Для чего? – эхом повторил Артем.

– Принес и уложил...

Дашка замолчала, прикидывая возможности. Верить мальчишке нельзя, это понятно, но использовать – можно. Обратись она к Вась-Васе, тот изымет фотографию и скажет не вмешиваться. Артемка – дело другое... третье и четвертое.

И Дашка решилась. Она принесла папку и выложила содержимое на стол.

– Смотри. Он в точности повторил эту сцену.

Артем протянул было руку к фотографии, но Дашка шлепнула по пальцам:

– Трогать нельзя. Если ты и дальше хочешь со мной дружить.

– Хочу. Теперь – хочу. – Он подвинулся и уткнулся в снимок. – Старый, да? Копию сделать не дашь?

– Пока не дам. Но если мы подружимся, то все мое будет твое.

– Мы подружимся, – пообещал Артем. – Значит, он не желал... обесчестить труп?

Эта его пауза и осторожное словечко удивили Дашку. А мальчик не настолько циничен, каким желает казаться.

– Не желал. Наверное. Он сделал новое лицо. Передел. Поднял. Уложил, как на снимке. И родинку нарисовал. Зачем?

Артем думал недолго:

– Чтобы сфотографировать.

Вскочив, он описал полукруг и оказался за Дашкиной спиной.

– Есть такая техника... я слышал... я не помню, как она называется... но короче, там фотограф все делает как на старой картине. Или вот на фотографии. Получается, что оно вроде и новое, и не совсем. И вот он точно так же. Новое, и не совсем. Класс!

Дашкины мысли работали много медленнее. Она закрыла глаза, вспоминая вчерашний день. Зал. Колонны. Мусор. Вазы с орхидеями. Тело на постаменте. Тело на полу. Один плюс один. И в два не складывалось.

– С ним не было камеры, – сказала Дашка.

– Именно! Ее забрал убийца! – Артем, наклонившись, поцеловал Дашку в макушку. – Умница ты моя. Теперь я знаю, где искать нашего неизвестного. Ну или догадываюсь. Ты со мной?

Конечно. Этого типа ни на минуту нельзя выпускать из поля зрения.

Всю ночь Елена проворочалась в постели. Стоило закрыть глаза, как мягкая кровать вдруг превращалась в болото. Елена падала и, пробивая толщу матраса, оказывалась в вывернутом наизнанку месте. Там на нее смотрели мертвые лица с нарисованными глазами.

Елена пыталась сбежать из этого сна, но ее не отпускали.

– Эй, подруга! – крикнул кто-то. – Проснись же!

Елена очнулась и стряхнула цепкую Динкину руку.

– Ну ты и... – Динка не обиделась. – Приболела, да? Я Валику скажу, что ты приболела. И Мыре тоже...

– Нет.

Не время расслабляться. Елена встанет. Она не больна. Просто кошмар. Случается.

Умывалась Елена ледяной водой. Расчесывалась долго, хотя и видела, что опаздывает. И только когда хлопнула дверь – Динка таки не дождалась, – Елена нашла в себе силы выбраться из ванной комнаты.

Дальше – проще. Натянуть джинсы, собрать волосы в узел, глянуть в зеркало – лицо осунулось, а на скулах вспыхнул румянец – и вызвать такси. Упасть на сиденье. Закрыть глаза. Пятнадцать минут полудремы. Проснуться. Рассчитаться, ловя непослушными пальцами купюры. Выйти. Войти. Рожденный кондиционером ветер донес Валиков рык:

– Явилась!

– Извини, если опоздала, – сказала Елена и глянула на часы.

Всего-то на семь минут. Динка порой на полчаса умудрялась, но Валик терпел. И сейчас он вдруг отвернулся и буркнул:

– Пошевеливайся.

Елена пыталась, но она будто брела в тумане. Сквозь него проступали очертания студии. В масляно-желтом свете софитов перекачивался темный шар – Валик. Его лица Елена не видела.

– Все, Ленка, хватит! – Слово-команда оборвало ее танец на очередном па. – Видишь! Можешь, когда захочешь!

Валик хвалит? Валик хвалит ее? Странно. И плевать. Собиралась она на автомате. Выходила так же. Выбравшись на улицу, Елена удивилась длинным теням, что расчертили асфальт на полосы. Уже вечер? А день куда исчез? Его сожрала Валикова камера.

– Леночка? – Мыра вынырнула откуда-то сбоку и сразу вцепилась в руку Елены. – Ты хорошо сегодня поработала.

А ведь Мымра стара. Ей за сорок, но она носит стильные костюмы и туфли на тонком каблуке, а волосы стягивает в узел. Лицо от этого становится строгим и каменно-гладким.

– Спасибо, – сказала Елена, взглядываясь в родинку над губой Мымры. Некрасивая. Почему Мымра ее не удалит?

– Пойдем. Погуляем, – предложила Мымра тоном, не терпящим возражений. Елена и не собиралась возражать: она не дура Мымре перечить.

Гуляли, к счастью, недалеко, до стоянки. Белый Мымрин «Лексус» поджидал хозяйку в тени.

– Я рада, что вы с Димой нашли общий язык.

– Большое вам спасибо за...

Мымра жестом оборвала фразу.

– Он просил передать, что будет рад снова увидеть тебя. – В Мымриной сухой лапке возник телефон. Простенький, дешевенький, неинтересный. – Вот. Номер вбит в память. Звонишь, назначаешь встречу, приходишь вовремя.

Это сон продолжается, поэтому Елена и вопросов не задает, и подарок принимает. Во снах все иначе.

– О Диме лучше не трепаться. Ясно?

Более чем.

– Будешь вести себя хорошо, и все у тебя получится.

Очнулась Елена на выходе со стоянки, когда мимо с ревом пронесся Мымрин «Лексус». В руке Елена держала телефон. Надо позвонить...

И выспаться.

Номер третий пропустила занятия. В ином раскладе данный факт не вызвал бы интереса со стороны Адама, однако в совокупности с нестандартным поведением персонала он приводил к выводам неприятного толка.

И когда Адам задал вопрос, ему ответили:

– Антонина отдыхает.

Сестра врала. Костяшки ее побелели, а на шее проступили сосуды. Изменение окраски кожных покровов также свидетельствовало об испытываемом волнении. Следовательно, изначальное предположение верно: с номером третьим случилась неприятность. А приглашение к Всеславе лишь добавило уверенности.

– Добрый день, – Всеслава изобразила улыбку. – Присаживайся.

В ее кабинете два кресла, разделенные узким столом. Первое – массивное и мягкое, анатомических очертаний. Второе – с жесткой спинкой и подлокотниками. На столе ее всегда царит порядок. Шторы задернуты. Цветы политы. И книги на полке выстроены по ранжиру.

– Ты беседовал с Антониной Кривошей? – Вопрос, требующий лишь формального подтверждения. Камеры пишут все, и отрицать очевидность, зафиксированную в памяти сервера, бессмысленно. Адам не отрицает.

Адаму неудобно в мягком кресле. Он терпит.

– О чем вы разговаривали?

– О жизни.

– Чьей?

– Что с ней произошло?

Всеслава молчит. Выражение ее лица не поддается истолкованию. Пальцы гладят ободок колечка, и камешки тускло поблескивают.

– Она попыталась покончить жизнь самоубийством.

Казенная фраза с минимально информативным наполнением.

– Твоей вины в этом нет, – продолжила Всеслава. – Но мне крайне важно знать, о чем вы разговаривали.

– К ней приходил человек. Вы ведь регистрируете все посещения? Кто он?

– Адам! – Она никогда прежде не срывалась на крик. И сейчас довольно быстро взяла себя в руки. – Пойми, это неважно: кто к ней приходил. Более того, я не могу тебе ответить.

– А кому можете?

– Это не игра, не логическая загадка, это жизнь. Человек едва не умер. А если я не буду знать, в чем проблема, я не смогу ей помочь. И она повторит попытку. Будет повторять, пока очередная не окажется успешной. Поэтому, Адам, пожалуйста, прекрати копать и просто расскажи, о чем вы с ней разговаривали.

Просьбу Адам исполнил. Он излагал информацию сжато, но стараясь не упускать деталей. Когда же рассказ был закончен, Адам повторил прежний вопрос:

– Кто к ней приходил?

– Муж, – ответила Всеслава.

Мотоцикл ревел, пробиваясь сквозь плотный воздух, и Дашка боролась с желанием раскрыть руки и поймать ветер. Городские улицы проносились мимо, глядя на нее разноцветными глазами витрин. Громыхали машины по встречной. Белой полосой слилась разметка, и впереди, заслоня купола старой церкви, маячила спина Артема. Черная кожа, белые швы, хромовые заклепки.

Мальчик понтуется.

Дорога вильнула, огибая громадину древнего парка. Из-за порушенной ограды выглядывали львиногривые тополя и пятнистые березы. У заросшего тиной пруда столпились ивы, а шербатый фонтан грел спину на солнце. У фонтана Артем и остановился.

– Приехали, – крикнул он и стянул шлем. – Как тебе прогулка?

– Спасибо. Жива.

Дашка огляделась. Фонтан не работал уже тысячу лет. И от фигуры пионера остались лишь ноги, торчащие из разросшегося куста сирени. Пахло медом и летом. Гудели пчелы. А на раму мотоцикла села бабочка.

Жизнь продолжается?

– Нам туда, – Артем указал в глубь парка. Там, в плотной тени старых деревьев, клубились мошки и царил сырость. А сквозь плитку проросла трава.

– Я тут в детстве гулять любил. Еще карусели работали. Помнишь?

– Помню.

Только детство у Дашки было чуть раньше. А карусели и сейчас есть. Старый круг с перелинявшими лошадками, слоном, верблюдом и ракетой, которая всегда была занята. А Дашке страсть как хотелось прокатиться. И сейчас она задержалась у ограды, глядя на постаревшие игрушки и остро ощущая собственный возраст.

– Она работает, – Артем оперся на ржавую ограду. – Никому не нужна, но работает. Дядя Витя за ней присматривает. За всеми ними. И если хочешь, я договорюсь. Покатаешься.

– С чего такая любезность?

– Ну... мне же надо с тобой дружить? Идем.

Артем свернул на едва заметную тропку. Тропка вилась среди желтых лютиков и белых ромашек, чтобы остановиться у заросшего травой холма. В холме имелась дверь с надписью «Посторонним в...».

Продолжение надписи было аккуратно закрашено.

– И что это? – спросила Дашка, разглядывая железную дверь с ржавыми пятнами.

– Бункер.

Точно! Был в парке бункер. Один из тысяч, рожденных «холодной войной».

– Здесь теперь клуб. Частный, – и Артем потянул дверь на себя. Та пошла с душераздирающим скрипом. – Дамы вперед.

Дашка в жизни не сунулась бы в эту дырищу, когда б не Артем. Он стоял, смотрел, ждал, что Дашка заупрямится и распишется в собственной слабости. И она гордо шагнула во влажную темноту.

Внутри бункера гудело, и гул расплзался по стенам, порождая мелкую дрожь.

– Фонарик держи. Свет здесь только внизу, – Артем сунул тонкую палочку фонаря. – Под ноги смотри. И держись за перила.

Заботливый какой.

Но советам Дашка вняла. Перила, к слову, оказались не ржавыми, а гладкими и отполированными до блеска. Пятно света прыгало со ступеньки на ступеньку, иногда – на стены и совсем редко – на потолок. В потолке бородавками торчали светильники.

Артем шел следом. Ступал он беззвучно, как кот, и эта его манера добавляла Дашке нервов.

– На самом деле тут классно. Особенное место. – Наверное, Артем почувствовал Дашкину неуверенность, если заговорил. – Я иногда прихожу. Просто отдохнуть, и вообще... есть такие места, где людям от тебя ничего не надо.

– А по жизни надо?

– По жизни всем всегда надо, – серьезно ответил Артем. – Осторожно. Тут одна ступенька сточена. Если хочешь, возьми меня за руку.

Обойдется.

Лестница закончилась перед очередной дверью. Дашка сама попыталась открыть ее, но дверь оказалась тяжелой, а петли – ржавыми. Пришлось уступить место Артему.

В свете фонарика его лицо казалось старше и серьезнее, да и сам он – удивительное дело! – не вызывал прежнего раздражения.

– Кто в домике живет? – крикнул Артем с порога. – Выходи знакомиться. Моя подруга и заодно хороший человек. Звать – Дарья. Прошу любить и жаловать.

Дарья моргала, пытаясь привыкнуть к резкому свету.

Изнутри бункер оказался огромным. Сколько бы он вместил? Тысячу? Две? Дашка не знала. Очертания его терялись в алых тенях, порожденных красным светом. Длинные ряды ламп уходили в темноту. Стены прятались за гобеленами маскировочной сетки, а на полу причудливым узором лежали старые ковры.

– Добро пожаловать, – сказал кто-то, неразличимый пока. – Темка, я уж думала, что ты нас позабыл.

Из-за сетки – она не укрывала стены, но разгораживала пространство на сегменты – вышла женщина в китайском халате с драконами. На голове ее возвышался парик по моде семнадцатого века.

– Разве вас забудешь, Лидия Марковна? – Артем припал к ручке. – А где дядя Витя?

– Ушел. Но обещал вернуться. – Голос у Лидии Марковны оказался сиплым, прокуреным. – А вы, девушка, чем увлекаетесь?

– Трусами, – честно ответила Дашка.

– Оригинально... – И Лидия Марковна гордо удалилась.

Артем же потянул в глубь бункера.

– Идем. Надо подождать.

Дашка не сдвинулась с места. Хватит с нее. Поиграла в козу на веревочке. И Артем все правильно понял:

– Дядя Витя знает всех более-менее талантливых людей в этом долбаном городе. Хобби у него такое: таланты собирать. И если наш неизвестный был спецом, как ты говоришь, то

дядя Витя его вспомнит. Поэтому не капризничай. Будешь хорошо себя вести, куплю конфету.

– Я тебе не подруга!

– Ну да. Знакомьтесь, это Даша. Даша у нас бывший мент, который в новой жизни от старых привычек избавиться не может. Не дури, Дашунь. Я знаю, что делаю. Просто поверь. И пойдем.

Дашка шла. Тени путались в сетях, иногда сети сменялись рисунками. Огромные люди со снопами на плечах. Трехгорбый верблюд и белая лошадь в наливных яблоках. Яблоки, упав, прорастали людьми.

Красиво.

– Это Лидии Марковны. На самом деле она физику преподает. А в сорок лет вдруг ощутила талант. И вот... применяет. А это, – Артем указал на мозаику из бутылочного стекла. – Егора. Он у нас политик. Ультраправый радикал.

На темно-зеленом бархатистом фоне плыли звезды и спутники.

– Слоны – Серегины. Лодка – Аньки. Анька у нас кораблями бредит. Смешно, да? Работать на птицефабрике и мечтать о кораблях?

Не смешно.

Белое море сливалось с белым небом. Желтая лента прочертила линию горизонта и свернулась клубком. Восходящее солнце отражалось в воде и на остром, как плавник касатки, парусе.

Артем уже тянул дальше, в утробу бетонного кита.

– Сюда. Садись. Или ложись. В общем, чувствуй себя как дома.

За очередной завесой обнаружилась комната. Она была слишком обыкновенна для такого необыкновенного места. Скрипучая кровать, подушки горой, покрывало до земли, тахта, застеленная домотканым покрывалом, круглый стол, на столе – сервиз. Чашки и тарелки украшены портретами Ленина, и надпись по ободку вьется – «Слава КПСС!».

Артем стянул ботинки и завалился на кровать, обрушив подушечную гору:

– Появится дядя Витя, разбудишь, – сказал он и закрыл глаза, обрезав все вопросы, которые Дашка собиралась задать. Она было решила, что Артем притворяется, но тот и вправду уснул.

Потянулось ожидание. Дашка закрыла глаза, отрешаясь от места. Она слушала, как гудит генератор, спрятанный в толще бетона, и красный свет, проникая сквозь веки, не раздражал...

...Адаму это место пришлось бы по вкусу.

Самоубийство не укладывалось в схему поведения номера третьего.

Она не закончила рассказ. Рассказ был для нее важен. Продолжение его требовало отсрочки.

Тогда почему вчера?

Спрашивать бесполезно: Адама просили не вмешиваться, и просьбу следовало воспринимать как приказ. Нарушение его приведет к применению силовых методов со стороны администрации: в этом милом заведении имеются особые палаты.

Отказ от не существующего пока расследования наиболее логичен.

Адам вернулся к исходной точке пути. Он уже трижды обошел административный корпус, четко осознавая, что смысла в подобных действиях немного, но не имея сил отказаться от действий вообще.

Он остановился у южного крыла, в тени кустов сирени. Та разрослась, побеги поднимались до второго этажа. В темно-зеленой листве виднелись лиловые и белые кисти соцветий. Но внимание Адама привлекли не они, а окно второго этажа.

Узорчатая решетка. Толстое стекло. Желтые шторы. Комната не видна, но виден силуэт. Силуэт разделен надвое, и одна его половина исчезла, а вторая так и осталась стоять у окна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.